

БУЛАТ ОКУДЖАВА

*под
управлением
любви*





Сочинения Булата Окуджавы



БУЛАТ ОКУДЖАВА

*под
управлением
любви*

*Лирика
70^е-90^е*

Екатеринбург
«У-Фактория»
2003

ББК 84(2Рос=Рус)6
О52

Художник
Галина Ваншенкина

*Книга издана при участии
Фонда Булата Окуджавы
и АКБ
«Инвестиционной
Банковской
Корпорации»*

ISBN 5-94799-204-3

- © О. В. Окуджава
(право наследник), 2003
- © Г. К. Ваншенкина,
художественное
оформление, 2001
- © Издательство «У-Фактория»,
составление, 2003



* * *

**Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась,
хоть понимаю, естественно,
счастья желая себе:
сложится все соответственно
вере, слезам и судьбе.**

У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
все больше мест в Москве, где пусто и темно.

Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Все меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
все больше мест в Москве, где есть о чем молчать.

Куда-то все спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»...
Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
все больше мест в Москве, где и без нас правы.

* * *

Как время беспощадно,
дела его и свет.
Ну я умру, ну ладно —
с меня и спросу нет.

А тот, что с нежным пухом
над верхнею губой,
с еще нетвердым духом,
разбуженный трубой, —

какой счастливой схваткой
разбужен он теперь,
подкованною пяткой
захлопывая дверь?

Под звуки духовые
не ведая о том,
как сладко все впервые,
как горько все потом...

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что — ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
всё о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянута губы,
чтоб запомнился я молодым.

* * *

В. Войновичу

О, фантазии на темы
торжества добра над злом!
В рамках солнечной системы
вы отправлены на слом.

Торжествует эта свалка
и грохочет, как прибой...
Мне фантазий тех не жалко —
я грущу о нас с тобой.

* * *

На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму...
И хочется верить ему.

Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш...
Тогда опустеет Париж.

А если все не так, а все как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.

Романс

Стали чаще и чаще являться ко мне
с видом пасмурным и обреченным
одна дама на белом, на белом коне,
а другая на черном, на черном.

И у той, что на белом, такие глаза,
будто белому свету не рады,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё утраты, утраты.

И у той, что на черном, такие глаза,
будто это — вместилище муки,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё разлуки, разлуки.

Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза,
ах, когда б вы в мои поглядели,—
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё потери, потери.

Кириллу Померанцеву

Как хорошо, что Зворыкин уехал
и телевиденье там изобрел!
Если бы он из страны не уехал,
он бы, как все, на Голгофу взошел.

И не сидели бы мы у экранов,
и не пытались бы время понять,
и откровения прежних обманов
были бы нам недоступны опять.

Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!

Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не выпали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.

Как хорошо, что в прозрении трудном
наши глаза застигает слеза!
Даже и я, брат, в моем неуютном
благополучии зрю небеса.

Что же еще остается нам, кроме
этих, еще не разбитых оков?
Впрочем, платить своей болью и кровью —
это ль не жребий во веки веков?

О. В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знал?

Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?

Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
проводила сквозь Москву.

Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.

И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.

И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

О Володе Высоцком

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.

Еще один романс

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной
дамы.

Ее глаза в иные дни обращены.

Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен
над годами,

и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно
и музыканты все в парадных пиджаках.

Но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка
целебна...

И дирижер ломает палочку в руках.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной
и напрасной,

но вот о чем я сокрушаюсь иногда:

ведь что мы сами, господа, в сравненье с дамой
той прекрасной,

и наша жизнь, и наши дамы, господа?

Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде,
благосклонна,

и к ней за это благосклонны небеса.

Она, конечно, пишет мне, но... постарели
почтальоны,

и все давно переменялись адреса.

Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой
каждому хочется ввысь вознестись над фортуной
полночной:
непрочной.

Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре,
не разглагольствуя, не помышляя о Зле и Добре.

Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный
кружит и кружит по комнате тесной с надеждой
чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?

Этой порою в Салослове — стужа, и снег, и метели.
Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря
не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких
торжеств,
самое время использовать опыт крылатых существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях
очкастых,
нечастых.

Не потому ли, что нам удалось заработать горбом
точные знания о расстоянье меж Злом и Добром?

И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно
не убывает...
Впрочем, вот ангел над лампой летает...
Чего не бывает?

Ю. Даниэлю

Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так, какие-то клочки.

И уже не спросишь, не с кого.
Видно, каждому — свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.

И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.

И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.

Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки утонувшие,
не всплывут они со дна.

Память пылью позасыпало?
Постарел ли?
Не пойму:

вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?

Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..

Что Москва слезам не верила —
это помню.

Хоть убей.

Кухня

Рождение бифштекса — само волшебство.
Брильянтовых капель без счета.
А эта, которая жарит его,
похожа на рыжего черта.

И этот, из пара родившийся черт,
азы про себя повторяет,
и жарит, и парит, и льет, и печет,
и фартуком лоб утирает.

Она в ароматы смолы и огня
себя погрузить не страшится,
и плавно святая ее пятерня,
как розовый ангел, кружится.

И если в окно заглянуть со двора —
какая бесовская штука:
в чугунной ладье громоздится гора
под кольцами белого лука.

Там все перемешано в соке его,
в прожилках его благородных:
и гибель, и жизни моей торжество,
и хриплые крики голодных.

*Из стихов к роману
«Свидание с Бонапартом»*

Вдали от собственного дома,
на льдине из чужой воды —
следы осеннего разгрома,
побед несбывшихся плоды.
Окончен бой. И в нем, жестоком,
мы проиграли. Генерал
на льдину хрупкую упал.
Войны таинственным итогом
пренебрегая, мертвым оком
последний подает сигнал
прощанья перед встречей с Богом.

И юношеские года,
и лет покойных череда —
все кажется минутным вздором.
Лишь лед Зачанского пруда
(во сне иль наяву) всегда
перед его потухшим взором.

Нам преподало Провиденье
не просто меру поведенья,
а горестный урок паденья;
и за кровавый тот урок
кому тут выскажешь упрек —
пустых словес нагроможденье?

Ну хорошо. Он бездыхан.
А мы-то как же, молодые,
пусть вшивые, но ведь живые?
Неужто из горячих ран
себе соорудим карьеру
и будем хвастаться не в меру
под батальонный барабан?

Август в Латвии

Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Все, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе.

Не унижайся, видземский пастух,
пестуй осанку свою благородную,
дальней овчарни торжественный дух
пусть тебе будет звездой путеводною.

Не зарекайся, видземский король,
ни от обид, ни от бед, ни от хворости,
не обольщай себя волей, уволь:
вольному — воля, гордому — горести.

Тот, кто блажен, не боится греха.
Бедность и праведность перемежаются.
Дочку отдай за того пастуха,
пусть два источника перемешаются.

Между удачей, с одной стороны,
и неудачей жизнь моя мечется
в сопровождении медной струны
августа месяца, августа месяца.

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его, — нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.

Б. Сарнову

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.

Я плачу о другом — оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас — в изогнутой руке...
Как будто бы пожар — в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.

Ю. Карякину

Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упротить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обзревая из окна?

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.

Воспоминание о Дне Победы

Была пора, что входит в кровь, и помнится,
и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало
на Мясницкой.
Еще пожар не отгудел, да я отвоёвал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну — она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Он нашей собственностью был, и мы клялись
Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

М. Козакову

Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин — рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.

Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Все созревало, как нарыв на теле... Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Лунёвым.

Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастьё к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.

Загадочным то время было:
в понятие чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало...
И это все для нас еще одна загадка.

И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.

Несчастье

Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящем со мной не стесняться, —
я мог бы над ним посмеяться.

Когда бы оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался, —
уж я бы над Ним потешался.

Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.

Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.

Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...

Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!

И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.

Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).
И вот, утверждая свое торжество,
бывает, срываешь погоны с Него...
Откуда и силы берутся?

Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним — под машинку остриженный хор.
У него — руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры —
значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно... А годы уходят.

Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.

Работа

Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы — влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.

Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.

Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.

Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза...
Но перспектива как сладка!
Какая вызревает проза!

Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.

И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе...
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.

И вновь:

Я. Злость. И трепет у виска.

И пот... Какой квартет отличный!

**А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.**

Песенка о молодом гусаре

Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди — командир, на нем новый мундир,
а за ним — эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он все стоит пред ней коленопреклонный.

Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди — командир, на нем рваный мундир,
а за ним — тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он все стоит пред ней коленопреклонный.

Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир — дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир...
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклонный.

Надпись на камне

*Посвящается московским
школьникам 33-ей школы,
придумавшим слово «арбатство»*

Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Арбатские напевы

I

Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где всё те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?

В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спастись от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.

Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловым прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.

Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее белой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились...
И выхода нет.

2

Ч. Амирэджоби

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Хозяйская походка, надменные уста...
Ах, флора там все та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся...
Заледенела роза и облетела вся.

Я горой за сюжетную прозу,
за красотку, что высадит розу
под окошком, у самых дверей.
Она холит ее, поливает,
поливает, как будто справляет
день рождения розы своей.

Распускается каждая ветка.
А потом появляется некто
неизвестно зачем, почему.
Выбрав время, и место, и позу,
наша барышня красную розу,
розу красную дарит ему.

Дверь распахнута. Пропасть разверста.
Всё там есть, и всему там есть место:
и любви, и войне, и суме...
И бушует житейское море,
и спасается кто-то от горя,
но стреляется кто-то во тьме.

К сожалению, все отцветает.
Наша жизнь — она тоже ведь тает,
и всегда невпопад, как на грех.
Даже если решенье не близко,
все зависит от степени риска,
от таланта зависит успех.



Не ищите сюжеты в комодe,
а ищите сюжеты в природе.
Без сюжета и прозы-то нет.
Да, бывает, что всё — под рукою:
и идеи, и мысли — рекою,
даже деньги...

Но нужен сюжет.

Всему времечко свое: лить дождю,
Земле вращаться,
знать, где первое прозренье,
где последняя черта...
Началась вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться... Не успели ни черта.

Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском? В черной туче ль грозовой?

Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуны не кляню...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

Прогулки фраеров

Оле

По прихоти судьбы — Разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фраеров»,
и фраера меня благодарили.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овекает дым,
и приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.

Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!

Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь все, мой друг, о нас с тобою.

Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...
Но по пути мне вышло с фраерами.

Парижская фантазия

Т. Кульмановой

У парижского спаниеля лик французского короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы
и лени:
набекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом
движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются жизнь
и земля.

На бульваре Распай, как обычно, господин Доминик
у руля.
И в его рестораничке тесном заправляют полдневные
тени,
петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен
колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую
с хрустом стеля.

Этот полдень с отливом зеленым между нами
по горстке деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа, Судьба,
Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные все заведенья.
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой...
Voila!

Если есть еще по́зднее слово, пусть замолвят его
обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве — о минуте
возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже,
но чтобы —
милосердие в каждом движенье и красавица
в каждом окне!

Ю. Давыдову

Нужны ли гусару сомненья,
их горький и въедливый дым,
когда он в доспехах с рожденья
и слава всегда перед ним?

И в самом начале сраженья,
и после, в пылу, и потом
нужны ли гусару сомненья
в содеянном, в этом и в том?

Покуда он легок, как птица,
пока он горяч и в седле,
врагу от него не укрыться:
нет места двоим на земле.

И что ему в это мгновенье,
когда позади — ничего,
потомков хула иль прощенье?
Они не застанут его.

Он только пришел из похода,
но долг призывает опять.
И это, наверно, природа,
которую нам не понять.

... Ну ладно. Враги перебиты,
а сам он дожил до седин
и, клетчатым пледом прикрытый,
рассеянно смотрит в камин.

Нужны ли гусару сомненья,
хотя бы в последние дни,
когда, огибая поленья,
в трубе исчезают они?

Полдень в деревне
(поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня —
но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застёжки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьёт
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним — человек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.

Ах, кузнечик, безумный и сирий,
что ему твои рифмы и лиры,
строк твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.

Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.

Показалось смешным все, что было,
еле видимым сквозь деревья.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...

То ли клятвы, а то ли признанья
звучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминая,
пятерней шевелюру трепля,

рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу...

И серебряный пот заструился
по его невеликому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В глазках карих — ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.

Дорожная песня

Еще он не шит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...

А время торопит — возница беспечный, —
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...

Две вечных подруги — любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...

Две странницы вечных — любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.

Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег — то море, то солнце — то выюга,
то ангелы — то воронье...

Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

Настольные лампы

Арсению Тарковскому

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурную сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растекшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние, и ошибки,
и победы — всего лишь мираж?

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали как снопы.

Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.

Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и все, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.

Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?

С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.

И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

Примета

А. Жигулину

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.
Если дать ему кружить —
значит, всем на фронт иттить.

Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
Ну а как стрельба пойдет,
пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого,
хоть в чужого, хоть в свово...
Во, и боле ничего.

Во, и боле ничего.
Во, и боле никого,
кроме ворона того:
стрельнуть некому в него.

Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался
в живых,
сгорая в преддверии рая среди маршалов и рядовых,
когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел,
влекли и меня за собою... Я счастлив, что там
не сгорел.

Из хроник, прочитанных мною, в которых —
судьба и душа,
где теплится пламя былое условно, почти не дыша,
являются мне не впервые, как будто из чащи густой,
то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой,
то пепел, то кровь, а то слезы — житейская наша
река.
Лишь редкие красные розы ее украшают слегка.
И так эта реченька катит, и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат
оплатить.

Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня!
Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня.
И так все сошлось, дорогая: наверно, я т а м
не сгорел,
чтоб выкрикнуть з д е с ь, догорая, про то,
что другой не успел.

Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел.
Узкоколейка санная
коробится манерно.
Неужто это то, чего я так хотел?
А впрочем, это самое
из нужного, наверно.

Вот обрубают лед ленивым топором,
и ручейками хилыми
стекает он в овраги.
А я пишу стихи отточенным пером
лиловыми чернилами
на меловой бумаге.

Во всем видны судьба и пламень, и порыв.
И с замятиями снежными
разделаться несложно.
Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив...
И я живу надеждами.
Иначе невозможно.

Перед телевизором

Слишком много всяких танков, всяких пушек
и солдат.
И военные оркестры слишком яростно гремят,
и седые генералы, хоть не сами пули льют —
но за скорые победы с наслажденьем водку пьют.
Я один. А их так много, и они горды собой,
и военные оркестры заглушают голос мой.

Кого бояться и чего стесняться?
Все наперед расписано уже.
Когда придется с критиком стреляться,
возьму старинный лефоше*.
За позабытым Спасом, что на Пёсках,
разметим смертный путь.
Средь аргументов между нами веских, —
ему прицелюсь в грудь.
Вот он стоит, похожий на лакея,
уставясь трехлинейкой в меня,
хозяин и Арбата, и Лицея,
и прошлого, и нынешнего дня.

Он не спешит, заступничек народный,
на мушку жизнь мою берет,
и лефоше мой, слишком благородный,
не выстрелит, я знаю наперед.
Я как последний юнкер безоружен,
в лакейскую затею вовлечен...
Но вот курок нажат, Арбат разрушен,
кто прозевал свой выстрел — обречен.

Там, за спиной — чугунная ограда
кругла как мученический венец...
А благородство — это ль не награда
в конце концов за поздний сей конец?

* Лефоше — дуэльный пистолет.

Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.

И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.

Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты...
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!

Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.

Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще все выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.

Но это все потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
что Время нам предложит.

Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.

Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся от нас
лишь крылья за спиною.

Как наш двор ни обижали — он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.

А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись —
распалялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.

А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи еля...
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают большее — тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы
лей — не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину...
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздадут по чину.

Мой почтальон

Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно,
корреспонденцию носит и в двери стучит.
Мой почтальон из другого какого-то теста:
писем ко мне не приносит, а только молчит.

Топчется в темной прихожей в молчании строгом,
круг оттоптал на пороге у самых дверей.
Радостный день и объятия там, за порогом,
горестный мрак и утрата в пещере моей.

Мой почтальон презирает меня и боится,
жаждет скорей от меня отбояриться, плут.
Там, за порогом, мелькают счастливые лица,
там ни о чем не жалеют и писем не ждут.

Вот наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли,
будто спасаясь, спешит по обратной тропе.
Как он вздыхает легко, оказавшись на воле,
как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.

По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших прохожих струится.
Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть — а уже просочился в песок,
и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,
и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай, брат,
вертеться.

Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,
и тяжки и горьки, как свинцовые пульки, они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов... Будто это и есть перспектива.
И дорога твоя от рожденья — то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее письма:
то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,
то «Прощай!», то «Счастливо!».

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться неплохо...
Навостриться бы мне разводить своих братьев
плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.

* * *

Пока от вранья не отвыкнем
традиции древней назло,
покуда не всхлипнем, не вскрикнем:
куда это нас занесло?! —

пока покаянного слова
не выдохнет впалая грудь,
придется нам снова и снова
холопскую ляжку тянуть.

* * *

Славная компания... Что же мне решить?
Сам я непьющий, — друзья подливают.
Умирать не страшно — страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.

Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитать Вольтера.
Запад, конечно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.

Памяти брата моего Гиви

На откосе, на обрыве
нашей жизни удалой
ты не удержался, Гиви,
стройный, добрый, молодой.

Кто столкнул тебя с откоса,
не сказав тебе «прощай»,
будто рюмочку — с подноса,
будто вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли, время ли, молва ли,
вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно —
похоронен и отпет, —
усмехается с экрана,
а тебя в помине нет.

Стих на сопках Магадана
лай сторожевых собак,
но твоя большая рана
не рубцуется никак.

И кого теперь с откоса
по ранжиру за тобой?..
Спи, мой брат беловолосый,
стройный, добрый, молодой.

Гимн уюту

А. Пугачевой

Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.

Вот он — хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом — хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.

Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
точас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.

Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.

Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:

там, за порогом, такое,
что не опишешь всего...
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.

Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.

Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.

Пой же, и все тебе будет:
сахар, объятья и суд,
и проклянут тебя люди,
и до небес вознесут.

Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют...
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.

Не сольются никогда зимы длинные и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги — та и эта,
та натруживает ноги, эта душу берedit.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги — та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри — не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги — та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться — он от скорбей излечит,
а вслушаться — из мертвых воскресит.

Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?

Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?

Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.

Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник, воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой — трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду — флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия... А поющих нет.

С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха — вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

Памяти Обуховой

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
И надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.

Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

Отчего ты печален, художник —
живописец, поэт, музыкант?
На какую из бурь невозможных
ты растратил свой гордый талант?

На каком из отрезков дороги
растерял ты свои медяки?
Все надеялся выйти в пророки,
а тебя занесло в должники.

Словно эхо поры той прекрасной,
словно память надежды былой —
то на Сретенке профиль твой ясный,
то по Пятницкой шаг удалой.

Так плати из покуда звенящих,
пот и слезы стирая со щек,
за истертые в пальцах дрожащих
холст и краски, перо и смычок.

Дунайская фантазия

Оле

Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг
очутиться!

Там — каналы, там — гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.

Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.

Там у пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит — сколько надо, нарожают.

Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит.
Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим.
И объятья наши жарки, и над нами ангел кружит
и клянется нам, что счастливы мы будем.

Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том,
вчерашнем,
быть влюбленным и не думать о спасенье,
пить вино из черных кружек, хлебом заедать
домашним,
чтоб смеялась ты и плакала со всеми.

Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда,
в начало,
к тем ребятам уходящим приобщиться.
И с тобою так расстаться у дунайского причала,
чтоб была еще надежда воротиться.

Там вожди на мавзолее: Сталин, Молотов,
Буденный,
и ладошками своими скромно машут: нет-нет-нет...
То есть вы, мол, маршируйте по степи
по полуденной,
ну а мы, мол, ваши слуги, — значит, с нас и спросу
нет.

Кстати, конюх тоже видит сон, что он на мавзолее,
что стоит, не удивляется величию своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердя, поклоняется ему.

Эта яркая картина неспроста его коснулась:
он стоял на мавзолее, широко разинув рот!..
...Кони все на дне лежали, но душа его проснулась,
и мелькал перед глазами славных лет круговорот.

Прощальная песенка волковских актеров

Прощай, прощай, прощай, прощай, ярославская
погода,
стены белые, нарисованные на синих небесах.
Тянет душу, сердце рвет, заманивает природа,
слезы чистые, прозрачные не высыхают на глазах.

Прощай, прощай, прощай, прощай, лесов могучих
позолота!
Колесница неукротимая за облаком гремит.
Ожидают нас, зажмурившись, оловянные болота,
петербургский неразговорчивый таинственный
гранит.

Прощай, прощай, прощай, прощай, деревянного
сарая
пыль подмостков, дух рогожи! Настало времечко
гореть.
Видать, времечко настало, настало времечко, сгорая,
настало времечко, сгорая, ни о чем не сожалеть...

* * *

*Александру Галичу,
Владимиру Высоцкому,
Юлию Киму*

Вечера французской песни
нынче в моде и в цене.
А своих-то нет, хоть тресни...
Где же наши шансонье?

Пой, француз, тебе и карты,
ты — француз, ты вдалеке.
Дело в том, что наши барды
проживают в бардаке —

в том, в котором нет пророка,
чуть явись — затопчут след.
Пой, француз, ведь ты далеко,
и к тебе претензий нет.

Чем начальству ты приятен?
Тем, что текст твой непонятен.
Если ж нужен перевод,
переводчик — наш молодчик —
как прикажут — переверт.

Ты поешь и ты танцуешь,
ты смакуешь каждый стих,
если ж даже критикуешь —
ведь не наших, а своих.

Пой, француз, с тебя нет спроса,
ты ведь гость, чего грешить...
Остальное — наша проза,
не тебе ее решить.

От нервов ли, от напряженья,
от жизни, что вся наугад,
мне слышится крови движенье,
как будто далекий набат.

Мне слышится пламени рокот.
Пожар полыхает земной.
И тут ни багры не помогут,
ни струи воды ледяной.

Сокрытый от праведных взоров,
разлит, словно море, в душе,
и бравая брань брандмайоров,
увы, бесполезна уже.

Он с каждой минутой все пуще,
все явственней он и слышней
над лесом, над лугом, над пушей,
над улицей жизни моей.

Все забуду про тревогу,
про пожары и про лед.
Все припомню понемногу,
когда времечко придет.

Все оставлю за порогом,
чтоб резвиться без хлопот.
Все сойдется в доме строгом,
когда времечко придет.

Все, что, кажется, бесплодно
разбазариваем мы,
когда времени угодно,
вдруг проявится из тьмы.

Никому уже не вычесть
из реестра своего
пусть ничтожных тех количеств,
что пришлись на одного.

Пусть, хоть много или мало,
составляющих судьбу,
без которых не пристало
место занимать в гробу.

На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро — там посмотрим кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид...
Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик молодежавый (он назначен к нам
комбатом)
смотрит в карту полевую, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая для всех.

Смолкли гордые оркестры — это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца...
Сколько там минут осталось... три-четыре до рассвета,
три-четыре до победы... три-четыре до конца.

***Арбатское вдохновение,
или Воспоминания о детстве***

Посвящаю Антону

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шеveledя,
мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, невымытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его — пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомнением, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.

Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где все имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа, —
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.

По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурым;
потом сажусь и за столом сижу
под лампой с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но, тем не мене,
никто, никто не ведает, о чем
я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которую вселенная объята...
И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо* и от Сократа.

* Глехо — крестьянин (*груз.*).

***Дерзость,
или Разговор перед боем***

- Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
- Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
- Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!
- Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
- Господин лейтенант, не к добру все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...
- Господин генерал, будет вам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
- На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...
- Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
- Черт возьми, лейтенант, да что это с вами?
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!..
- Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...
- Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счёты с тобой трибунал сведет...
- Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

Мое поколение

Всего на одно лишь мгновенье
раскрылись две створки ворот,
и вышло мое поколение
в свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколение,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.

Да, это мое поколение,
и знамени скромн наряд,
но риск, и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех.
Все — маршалы, все — рядовые,
и общая участь на всех.

В больничное гляну окно, а там, за окном, —
Пироговка.
И жизнь, и судьба, и надежда, и горечь, и слава,
и дым.
Мне старость уже не страшна, но все-таки как-то
неловко
мешать вашей праздничной рыси неловким галопом
своим.

А там, за широким окном, за хрупким, прозрачным,
больничным,
вершится житейский порядок, единый во все
времена:
то утро с кефиром ночным, то вечер с вареньем
клубничным,
и все это с плачем и смехом, и с пеной, взлетевшей
со дна.

В больничное гляну окно, а там, за окошком, —
аллея,
клубится февральское утро, и санный рождается
путь.
С собой ничего не возьмешь, лишь выронить можно,
жалая,
но есть кого вспомнить с проклятьем, кого и добром
помянуть.

В больничное гляну окно — узнаю, что может
начаться,
и чем, наконец, завершится по этому свету ходьба,
что завтра случится, пойму... И в сердце мое
постучатся
надежда, любовь, и терпенье, и слава, и дым,
и судьба.

А. Володину

Что-то знает Шура Лифшиц:
понапрасну слез не льет.
В петербургский смог зарывшись,
зерна истины клюет.

Так устроившись удобно
среди каменных громад,
впитывает он подробно
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно
в почвы лета и зимы,
потому что знает точно
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.
Расслабляться не пора...
Слышно: времечко стекает
с кончика его пера.

Мой отец

Он был худощав и насвистывал старый,
давно позабытый мотив,
и к жесткому чубчику ежеминутно его
пятерня прикасалась.
Он так и запомнился мне на прощанье, к порогу
лицо обратив,
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной ему
почему-то казалась.

Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже
далеко́.
Все те же леса, водопады, дороги и запах акации
острый.
А кто-то ж кричал: «Не убий!» — одинокий...
И в это поверить легко,
но бредили кровью и мезтью святою все прочие
братья и сестры.

И время отца моего молодого печальный развеяло
прах,
и нету надгробья, и памяти негде над прахом
склониться рыдая.
А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все
в небесах.
И там, в вышине, их безвестная стая кружится,
редея и тая.

В учебниках школьных покуда безмолвны и пуля,
и пламя, и плеть,
но чье-то перо уже пишет и пишет о том,
что пока безымянно.
И нам остается, пока суд да дело, не грезить,
а плакать и петь.
И слезы мои солонны и горячи. И голос прекрасен...
Как странно!

Музыкант

И. Шварцу

Музыкант играл на скрипке — я в глаза его глядел.
Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки — я надеялся понять,
как умеют эти руки эти звуки извлекать
из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
из какой-то там фантазии, которой он служил?

Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать когда,
чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда.
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть
и поджечь...

А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас
на путь
И вселяет в нас надежды... Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословию я по небу лечу.

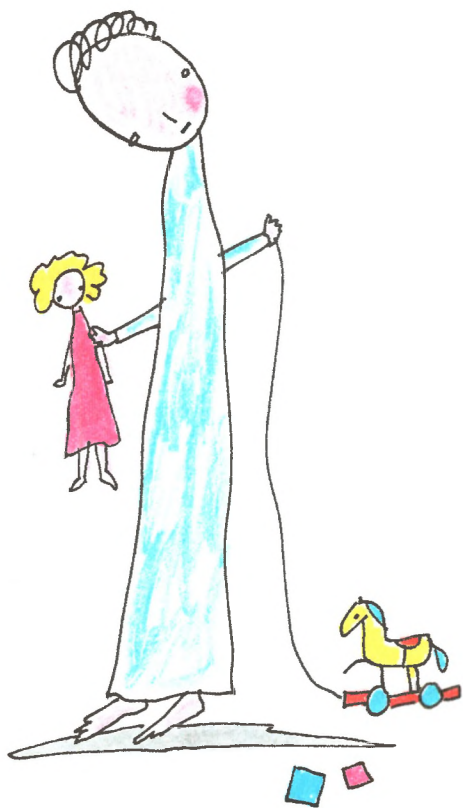
Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы,
смычок остер, —
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит нелепым, —
нытики и остряки?

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно —
невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтобы заново начать.



Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежней путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?

Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколениям,
обоженным нетерпеньем,
тоже э т о предстоит.

Соединение сердец —
старинное приспособленье:
вот-вот уж, кажется, конец —
ан снова, смотришь, потепленье.
Вот-вот уж, кажется, пора,
разрыв почти увековечен...
Но то, что кажется с утра,
преображается под вечер.

Соединение сердец —
старинное приспособленье...
Но если впрямь настал конец,
какое, к черту, потепленье?
И если впрямь пришла пора,
все рассуждения напрасны:
что было — сплыло со двора,
а мы хоть врозь, но мы — прекрасны.

И в скорбный миг, печальный миг
теряют всякое значенье
все изреченья мудрых книг
и умников нравоученья.
Понятны только нам двоим
истоки радости и муки...
И тем живем. На том стоим
и утешаемся в разлуке.

Собрался к маме — умерла,
к отцу хотел — а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского весь мир застелен.

И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных,
пока еще бедны они:

собрался к маме — умерла,
к отцу подался — застрелили...
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?..
...В чем философия была?

В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорает.

Мы плывем ночной Москвою между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не доигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался?

Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

Оле

Надежды крашенная дверь.
Фортуны мягкая походка.
Усталый путник, среди потерь
всегда припрятана находка.
И хоть видна она нечетко,
но ждет тебя она, поверь.

Улыбка женщины одной,
единственной, неповторимой,
соединенною с тобой
суровой ниткою незримой,
от обольщения хранимой
своей загадочной судьбой.

Придут иные времена
и выдумки иного рода,
но будет прежнею она
как май, надежда и природа,
как жизнь, и смерть, и запах меда...
И чашу не испить до дна.

* * *

Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.

В нашей жизни, прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежью раной
приздуматься, право, пора.

Приздуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжухивать жалкие крохи,
а творить, засучив рукава.

В больнице медленно течет река часов,
сочится в форточки и ускользает в двери.
По колким волоскам моих седых усов
стекает, растворяясь в атмосфере.

Течет река. Над нею — вечный дым.
Чем исповедаюсь? Куда опять причалю?
Был молодым. Казался молодым.
О молодости думаю с печалью.

В больнице медленно течет поток времен,
так медленно, что мнится беспредельным.
Его волной доставленный урон
не выглядит ни скорбным, ни смертельным.

На новый лад судьбу не перешить.
Самодовольство — горькое блаженство.
Искусство все простить и жажда жить —
недостижимое совершенство.

* * *

Вот комната эта — храни ее Бог! —
мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью.

И в комнате этой ночью порой
я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.

В ней все соразмерно желаньям моим —
то облик берлоги, то храма, —
в ней жизнь моя тает, густая, как дым,
короткая как телеграмма.

Пока вы возносите небу хвалу,
пока укоряете время,
меня приглашает фортуна к столу
нести свое сладкое бремя.

Покуда по свету разносит молва,
что будто я зло низвергаю,
я просто слагаю слова и слова
и чувства свои излагаю.

Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараятся, лезут из кожи.
Растрачены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, все то же.

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.

Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.

А вам как бы с полета птичьего
мерещится всегда одно —
лишь то, что было возвеличено,
лишь то, что в прах обращено.

Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.

* * *

Я выдумал музу Иронии
для этой суровой земли.
Я дал ей владенья огромные:
пари, усмехайся, шали.

Зевеса надменные дочери,
ценя превосходство свое,
каких бы там умниц ни корчили —
не стоят гроша без нее.

Б. Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства — вот загадочный
инструмент:
созидается он столетьями, а утрачивается в момент,
под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль
болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.

Чувство собственного достоинства — вот
таинственная стезя,
на которой разбиться запросто, но с которой
свернуть нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный,
чистый, живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ
твой.

Чувство собственного достоинства — это просто
портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи, — боль и нежность
в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого
ничего
не придумало человечество для спасения своего.

А. Кушнеру

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.

Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.

* * *

Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.

Строка из старого стиха слывет ненастоящей:
она растрочена уже, да и к мольбам глуха.
Мне строчка новая нужна какая-нибудь послаще,
чтоб начиналось из нее течение стиха.

Текут стихи на белый свет из темени кромешной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещей смысл иной строкой
попешной.
Все остальное при тебе — мужайся и пиши.

Нисходит с неба благодать на кущи и на рощи,
струится дым из очага... И колея в снегу...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь попроще,
а уж потом я сам ее украшу, как смогу.

Текут стихи на белый свет, и нету им замены,
и нет конца у той реки, пока есть белый свет.
Не о победе я молю: победы все надменны,
а об удаче я молю, с которой спроса нет.

Пугает тайною своей ночное бездорожье,
но избежать той черной мглы, наверно, не дано...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь построже,
чтоб с ней предстать перед Тобой мне не было б
грешно.

Текут стихи на белый свет рекою голубою
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик, за каждый вздох заплачено
любовью —
ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль.

* * *

Старики умирать не боятся.
Им геройски погибнуть не труд.
Только нечего зря распаляться:
все равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,
хоть не хочется им умирать, —
лишь надежды свои золотые
оставляют меж нами витать.

И бесшумная их эскадрилья
наводняет и полдень и мрак...
Тени черные, белые крылья,
и от глаз не укрыться никак.

Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.

Еврей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а я тянусь на цыпочки
и плачу о себе.

Снует смычок по площади,
подкрадываясь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.

Все прочие мотивчики
не стоят ни гроша,
покуда здесь счастливики
толпятся чуть дыша.

Какое милосердие
являет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,

как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда, от прошлого
никак спасенья нет.

Осудите сначала себя самого,
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага,
а когда преуспеете в этом,
не придется уж больше валять дурака —
вот и станете вы человеком.

Песенка

Совесь, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.

Восемнадцатый век из античности
в назиданье нам, грешным, извлек
культ любви, обаяние личности,
наслаждения сладкий урок.

И различные высокопарности,
щегольства безупречный парад...
Не ослабнуть бы от благодарности
перед ликом скуластых наяд!

Но куда-то все кануло, сгнуло
под шершавой ладонью раба...
Несчастливую карточку вынуло
наше время и наша судьба.

И в лицо — что-то жесткое, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем уже бесполезным добром.

Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего...
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..

Из Вашингтона в назначенный срок
в определенном судьбой экипаже
я отправляюсь (храни меня Бог)
сквозь непонятные эти пейзажи.

Что моя жизнь? — эти краски в окне.
Сколько же в них вариантов возможных,
словно в стихах, пробужденных во мне,
и обольстительных, и безнадежных?

Что мое время? — вагон голубой,
красных холмов за окошком сплетенье.
Что мое бремя? — разлука с тобой
от отречения до обретенья.

В поисках рая глаза проглядел.
Где-то он все в стороне остается.
Видно, прозрение — поздний удел:
не заработавшим не достается.

И. Бродскому

На странную музыку сумрак горазд,
как будто природа пристанище ищет:
то голое дерево голос подаст,
то почва вздохнет, а то ветер просвищет.

Все злей эти звуки, чем ближе к зиме
и чем откровеннее горечь и полночь.
Там дальние кто-то страдают во тьме
за дверью глухой, призывая на помощь.

Там чьей-то слезой затуманенный взор,
которого ветви уже не упрячут...
И дверь распахну я и брошусь во двор:
а это в доме моем стонут и плачут.

Антону

Весь этот век, такой бесплодный —
есть дело наших горьких рук,
и только грамотою нотной
исправить можно сей недуг.

Когда народ от горя плачет,
тараща в ужасе зрачки,
хоть мало их — но много значат
простые нотные значки.

За мнимой этой простотою
под грифельком карандаша
с невыразимой остротою
вдруг раскрывается душа.

Да, да, средь тех крючков потешных
на тех линейках прописных
рождается из мук безбрежных
земное выражение их.

Рождается как продолжение
мычанья пересошим ртом.
И всё — над бездною скольженьем...
А музыка — она потом.

Не уезжай, жена моя, в леса
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.
Провидческие слышу голоса...
Еще нам предстоит разъезд навеки.

Его приход, увы, неумолим,
его шаги расчетливы и скоры.
Повременим, мой друг, повременим
седлать коней и заводить моторы.

Из бытия земного своего
в грядущие не верю обещанья —
ведь там уже не будет ничего:
ни боли, ни прощенья, ни прощанья.

И поражений горьких и побед
и жертвы и охотники мы сами...
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,
тем более за дальними лесами.

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.
Спокойным сном охвачены квартиры.
Но к зимней печке ухо приложи —
гудят за кладкою mortarы.

Гуляет тихий вечер по земле,
беспечный... Но в минуту роковую
толченый перец в склянке на столе
готов напомнить пыль пороховую.

Стоит июль во всей своей красе.
За поворотом женщина смеется.
Но шаг — и стратегическим шоссе
тропинка к дому обернется.

По улицам, сливая голоса,
неотличимы брат от брата,
текут и строятся полки и корпуса,
которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?
Какие нам определяют силы
носить в себе и ярость, и покой,
и жажду жить, и братские могилы?

* * *

От безумного гриба,
вставшего над Хиросимой,
отделяют нас незримо
рок, фортуна и судьба.

Но мистический союз
их, как видно, эфемерен,
оттого я неуверен
и надеяться боюсь.

Мне все известно. Я устал все знать
и все предвидеть.
А между тем как запросто опять
меня обидеть.

Как мало значу я без гордых сил,
в костюме зашитый.
Мой опыт мне совсем не накопил
от бед защиты.

Судьба моя, беспомощна сама,
и в ус не дует.
История, сходящая с ума,
со мной флиртует.

Флиртуй, флиртуй, сентябрьская ночь,
кажись забавной.
Невыносимо, но не превозмочь
разлуки главной.

Она стоит как стрелочник за мной —
служака честный —
и отправляет мой состав земной
в тупик небесный.

Владимиру Фрумкину и Виктору Соколову

Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке.
Отчего же в моем сердце эта горечь, эта грусть?
Я уже писал о том, как объятья наши жарки
от предчувствия разлуки. Ничего, что повторяюсь.

Тайный голос высших сил. Незнакомый почерк веток.
Мы, затерянные где-то между счастьем и бедой...
Ностальгии на века не бывает — лишь на этот,
на короткий промежуток нашей жизни золотой.

Что у вас среди тех деревьев, под стеною белой храма?
Как горите — вдохновенно или так, по мере сил?
Я не знаю, где точней и страшнее наша драма,
и вернетесь ли обратно, я не знаю. Не спросил.

Б. Чичибабину

Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую.
Я вам описываю жизнь свою, и только лишь свою.
Каким я вижу этот свет, как я люблю и протестую,
всю подноготную живую у этой жизни на краю.

И с краёшка того бытья, с последней той ступеньки
шаткой,
из позднего того окошка, и зазывая и маня,
мне представляется она такой бескрайнею и сладкой,
как будто дальняя дорога опять открылась для меня.

Как будто это для меня: березы белой лист багряный,
рябины красной лист узорный и дуба черная кора,
и по капризу моему клубится утренник туманный,
по прихоти моей счастливой стоит сентябрьская
пора.

Я умел не обольщаться
даже в юные года.
Но когда пришлось прощаться,
и, быть может, навсегда,

тут уж не до обольщений
в эти несколько минут...
Хоть бы выпросить прощенье,
знать бы, где его дают.

Не скажу, чтоб стал слезливей
с возрастом, но всякий раз
кажется, что мог счастливей
жребий выпросить у вас.

Впрочем, среди великолепий,
нам дарованных судьбой,
знать, и вам не выпал жребий
быть счастливее со мной.

Дама ножек не замочит,
друг мараться не захочет,
и на свалку спишут старый двор.
Защитите его, струны,
от изменчивой фортуны.
Наша жизнь — короткий разговор.

Что ж вы дремлете, ребята:
ведь осколки — от Арбата!
А какая улица была!
Разрушители гурьбою
делят лавры меж собою.
Вот какие в городе дела.

Ни золота и ни хлеба
ни у черта, ни у неба,
но прошу я без обиняков:
ты укрой меня, гитара,
от смертельного удара,
от московских наших дураков.

Пусть мелодия простая,
но, из сердца вырастая,
украшает наше ремесло.
Ты прости меня, гитара,
может, я тебе не пара,
просто мне с тобою повезло.

В. Фогельсону

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

Дай я чехол с нее скину
и как букет поднесу...
Было: свистели нам в спину,
будто бы в позднем лесу.

Этого долгого свиста
нету в помине уже.
Нынче мы все гитаристы —
не наяву, так в душе.

Пальцы притронулись к первой,
тихо откликнулась медь...
...Только бы нотки неверной
нам невзначай не пропеть.

Пальцы касаются баса,
будто в струне той изъян...
...И до последнего часа
буду я верен друзьям.

Пальцы по всем заскользили,
трели сливая и гром...
...Тех, что добры с нами были,
брат мой, помянем добром.

**Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.**

*В Женеве установлен памятник
генералу Дюфуру, не пролившему
ни одной капли солдатской крови.*

Все утрясается мало-помалу,
чтобы ожить в поминанье людском.
Невоевавшему генералу
памятник ставят в саду городском.

О генерал, не видны твои козни,
бранные крики твои не слышны.
Что-то таится в любви этой поздней
к невоевавшему богу войны.

В прошлое бронзовым глазом уставясь
сквозь пепелища, проклятья и дым,
как ты презрел эту тайную зависть
к многим воинственным братьям своим?

Или клинки в поединках ослабли?
Или душой, генерал, изнемог?
Крови солдатской не пролил ни капли,
скольких кормильцев от смерти сберег!

Как же ты, сын кровожадного века,
бросив перчатку железной войне,
ангелом бился за жизнь человека,
если и нынче она не в цене!

Я не к тому ведь, что прочие страны
зря воспевают победы свои,
но согласитесь: приятны и странны
в этом краю вожделенья сии.

Может быть, в беге столетий усталых
тоже захочется праведней жить,
может, и мы о своих генералах,
о генерал, будем так же судить.

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга уводил?..
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил?

Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен... Мы друг другу
не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном море бытия.
Всё, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя.

Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню в святую даль.
Видно, все должно распасться. Распадайся же...
А жаль.

* * *

Кабы ведать о том, кабы знать:
чем дышать, на кого опереться!..
Перед вами — пустая тетрадь,
с ней еще предстоит натерпеться.

Памяти Льва Гинзбурга

Жил, пел, дышал и сочинял,
стихам был предан очень.
Он ничего не начинал,
все так и не закончил.

Жил, пел, ходил, дышал, как все,
покуда время длилось
в своей изменчивой красе...
Потом остановилось.

Как поглядеть со стороны:
пуста тщета усилий.
Но голоса чужой страны
он оживил в России.

Никто не знает, что нужней
да и поймет едва ли...
Но становились мы нежней,
и раны зарастали.

Никто не знает, чьей вины
пожаром нас душило...
А может, не было войны?
Будь проклято, что было!

* * *

Корабль нашей жизни приближается к пристани,
и райская роща все яснее видна.
Чем больше раздумываем, тем ближе мы к истине,
но, чем ближе мы к истине, тем все дальше она.

Становлюсь сентиментальным.
В моем облике печальном
что-то есть от поздних рощ,
по которым с перебором
ходит ветер, по которым
шелестит осенний дождь.

Лист моей щеки коснется,
как прохладная ладонь,
и минувший век проснется
весь — надежда и огонь.

Пред его закрытой дверью
подымаюсь на носки,
будто помню, будто верю,
будто млею от тоски.

* * *

Воспитанным кровавою судьбой
так дорого признание земное!
Наука посмеяться над собой
среди других наук — дитя дурное:
она не в моде нынче, не в чести,
как будто бы сулит одни мытарства...
А между тем, чтоб честь свою спасти,
не отыскать надежнее лекарства.

Утро

Погас на Масловке фонарь
и дремлет, остывая.
Сменил страничку календарь
под нервный вскрик трамвая.

Растаяла ночная мгла,
и утро за клубилось...
Собака в комнату вошла
с надеждою на милость.

Собралися молокане,
жар почуяв под ногами.
Взяли в руки тяжкий плуг,
не щадя ни спин, ни рук.

Улеглись пустые споры,
сникли праздные дела.
Только спины — как опоры,
только руки — как крыла.

Шли они передо мною
белой праведной стеною,
лебединым косяком.
Ни печальных и ни слабых.
Белые платки на бабах.
И мужик за мужиком
в белых робах домотканых,
в черных кепках полотняных
с духоборским козырьком.

Улеглись дневные страсти...
Вот и славно! Вот и счастье!
Я им водочки поднес,
чтоб по-русски, чтоб всерьез.

Но они, сложивши крылья,
тихо так проговорили:
«Мы не русские, браток —
молочка бы нам глоток...»

И запели долгим хором
о Христа явленье скором.
И потрескивал костер,
их сопровождая хор.

В свете искорок бивачных
сонмы ангелов прозрачных
в платьях призрачных до пят,
вскинув крылья за спиною,
всё кружились предо мною,
словно листья в листопад.

* * *

Мой дом под крышей черепичной
назло надменности столичной
стоит отдельно на горе.
И я живу в нем одиноко
по воле возраста и рока,
как мышь апрельская в норе.

Ведь с точки зрения вселенной,
я — мышь и есть, я блик мгновенный,
я просто жизни краткий вздох...
Да, с точки зрения природы
ну что — моя судьба и годы?
Нечаянный переполох...

Весь в туманах житухи вчерашней,
все надеясь: авось, как нибудь, —
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.

И, хрипя от проклятой одышки,
помянув минувшую статью,
не берусь за серьезные книжки:
все боюсь не успеть дочитать.

Добрый доктор, соври на прощанье.
Видишь, как к твоей ручке приник?
Вдруг поверю в твои обещанья
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.

Раб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверю, что ложь твоя — правда
и еще суждено мне пожить.

Весь в туманах житухи вчерашней,
так надеюсь на правду твою...
Лучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпаться в раю.

* * *

Раз и два.

Нынче ты одна, Маруся, в доме голова.

Раз, два, три.

Ничего, что денег мало, — в поле собери.

Раз и два.

Ты одна, моя Маруся, в доме голова.

Раз, два, три.

Ничего, что горя много, — плюнь и разотри.

* * *

Пора уже не огорчаться,
что в жизни предстоит прощаться,
что скоро выпадет пора
обняться дружно семьею
мне с вами, вам же всем — со мною
пред тем, как сгинуть со двора.

Шестидесятники Варшавы

Шестидесятники Варшавы,
что вас заботило всегда?
Не призрак злата или славы,
а боль родимого гнезда.

И не по воле чьей-то барской
запоминали, кто как мог,
и Яцка баритон бунтарский,
и Виктора тревожный слог.

И в круговерти той безбрежной
внимали все наперечет,
что Витольд вымолвит с надеждой,
что Адам пылко изречет.

Как души жгло от черной хвори!
Но как звенели голоса!
И все мешалось в этом хоре
и предвещало чудеса.

Конечно, время все итожит:
и боль утрат, и жар забот,
и стало въявь, что быть не может
чудес — а только кровь и пот.

Шестидесятники Варшавы,
хулы и кары не боясь,
вы наводили переправы,
чтоб ниточка не порвалась.

* * *

Арбата больше нет: растаял, словно свеченька,
весь вытек, будто реченька; осталась только
Сретенка.
Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши:
надо, чтоб хоть что-нибудь осталось для души!

* * *

Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.

Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы спешат,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и время разрешат.

* * *

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.

...И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен.
Вы оба.
Мы стали братьями давно, мы все теперь родня
до гроба.
И тот, что в облачке витает, и тот — в подвальном
этаже,
нам не в чем упрекать друг друга, делить нам нечего
уже.

Пустые лозунги любви из года в год теряют цену,
хоть посиней до хрипоты, хоть бейся головой о стену.
Они слабы и бесполезны, как на последнем вираже,
и мы уж не спешим друг к другу: спешить нам
незачем уже.

Но если жив еще в глазах божественный сигнал
надежды,
подобный шепоту листвы — необъяснимый, вечный,
нежный,
но если на сердце тревожно, но если горько на душе,
рискнет ли кто сказать, что нынче терять нам нечего
уже?

* * *

Наша жизнь — это зал ожидания,
от младенчества и до седин.
Сколько всяких наук выживания,
а исход непременно один.

Смилуйся, быстрое время,
бег свой жестокий умерь.
Не по плечу это бремя,
бремя тревог и потерь.

Будь милосердной и мягче,
не окружай меня злом.
Вон уж и Лета маячит
прямо за ближним углом.

Плакать и каяться поздно.
Тропка на берег крута.
Там неприступно и грозно
райские смотрят врата.

Не пригодилась корона,
тщетною вышла пальба...
И на весле у Харона
замерли жизнь и судьба.

* * *

Проснется ворон молодой
и, глаз уставив золотой,
в оконное стекло подышит
и, разорив свое крыло,
достанет вечное перо
и что-то вечное напишет.

* * *

Р. Рождественскому

Пока еще жизнь не погасла,
сверкнув, не исчезла во мгле...
Как было бы все распрекрасно
на этой зеленой земле,
когда бы не грязные лапы,
неправый вершащие суд,
не бранные крики, не залпы,
не слезы, что речкой текут!

Л. Люкимсону

Из Австралии Лева в Москву прилетел,
до сестры на машине дожал.
Из окошка такси на Москву поглядел:
холодок по спине пробежал.

Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток —
не стреляет, в баранку не гнет.
Вдруг возьмет да и спросит: «Боишься, жидок?» —
и с усмешкою вслед подмигнет.

Там, в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа — не опишешь пером!
А в Москве нынче хуже, чем было вчера,
но получше, чем в тридцать седьмом.

По Безбожному, Лева, пройдишь не спеша
и в знакомые лица взглядишь:
у Москвы, может быть, и не злая душа,
но удачливым в ней не родись.

Мне не нравится мой силуэт:
невыпад как-то скомкан и скроен.
А ведь мальчик был ладен и строен...
И надежды на лучшее нет.

Поистерся мой старый пиджак,
но уже не зову я портного:
перекройки не выдержать снова —
доплетусь до финала и так.

Но тогда почему, почему,
по капризу какому такому
ничего не прощаю другому
и перчатку швыряю ему?

Покосился мой храм на крови,
впрочем, так же, как прочие стройки.
Новогодняя ель — на помойке.
Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Но тогда отчего, отчего
рву листы и бумагу мараю?
Не сгорел — только все догораю
и молчанья боюсь своего?

Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сгорание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагическое после, счастливое сперва.

Никто на едкий вызов ответа не получит.
Напрасны наши споры. Вот Лермонтов-поручик.
Он некрасив, нескладен, и все вокруг серо,
но как же он прекрасен, когда в руке перо!

Вот Александр Сергеич, он в поиске и в муке,
да козыри лукавы и не даются в руки,
их силуэты брезжут на дне души его...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

Все гаснут понемногу: надежды и смятенье.
К иным, к иным высотам возносятся их тени.
А жизнь неутомимо вращает колесо,
но искры остаются, и это хорошо.

И вот я замечаю, хоть и не мистик вроде,
какие-то намеки в октябрьской природе:
не просто пробужденье мелодий и кистей,
а даже возрожденье умолкнувших страстей.

Все в мире созревает в борениях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о линиях и красках.
Пусть каждый, изнывая, достигнет своего...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

* * *

О. и Ю. Понаровским

Под крики толпы угрожающей,
хрипящей и стонущей вслед,
последний еврей уезжающий
погасит на станции свет.

Потоки проклятий и ругани
худою рукою стряхнет,
и медленно профиль испуганный
за темным стеклом проплывет.

Как будто из недр человечества
глядит на минувшее он...
И катится мимо отечества
последний зеленый вагон.

Весь мир, наши судьбы тасующий,
гудит среди лесов и морей...
Еврей, о России тоскующий,
на совести горькой моей.

К старости косточки стали болеть,
старая рана нет-нет и заноеет.
Стоило ли воскресать и гореть?
Все, что исхожено, что оно стоит?

Вон ведь какая прогорклая мгла!
Лето кончается. Лета уж близко.
Мама меня от беды берегла,
Бога просила о том, атеистка,
карагандинской фортуны своей
лик, искореженный злом, проклиная...

Что там за проволокой? Соловей,
смолкший давно, да отчизна больная.

Все, что мерещилось, в прах сожжено.
Так, лишь какая-то малость в остатке...
Вот, мой любезный, какое кино
я досмотрел на седьмом-то десятке!

«Так тебе, праведник!» — крикнет злодей.
«Вот тебе, грешничек!» — праведник кинет...
Я не прощенья прошу у людей:
что их прощение? Вспыхнет и сгинет.

Так и качаюсь на самом краю
и на свечу догоревшую дую...
Скоро увижу я маму мою,
стройную, гордую и молодую.

Японская фантазия

Когда за окнами земля кружиться перестала,
тогда Япония сама глазам моим предстала,
спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Пойду пройдуь ночной порой на Гиндзу золотую,
костер удачи распалю, свечу обид задую.
Не зря я десять тысяч верст нащелкивал коня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

То брызнет дождь, а то жара, а то туман, о Боже!
Судьба на всех везде одна, знакомо все, все то же,
как будто к дому я иду перед началом дня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Я так устал глядеть вперед с надеждой и опаской.
Пора уж как-нибудь остыть от трепотни арбатской.
Да, я москвич, и там мой дом, и сердце, и броня,
но между тем, себя храня, молитесь за меня.

Сочиняет плов Мазлум из баранины и риса.
Жир бурлит, вода клокочет, пламя пышет
в камельке.
И ковбочка на нем золотая, словно риза,
и поношенные джинсы, и половничек в руке.

Он стучит по котелку, будто все не достучится.
Пахнет дом травой, и дымом, и землею, и водой.
Жир задумчивый течет, рис рассыпчатый струится,
и Мазлум над ним колдует, молодой и чуть седой.

Он турецкий любит плов, а любой другой не любит.
Плову — наша благодарность, сочинителю — почет.
Или голод нас сомнет, или сытость нас погубит,
или-или, или-или, или нечет — или чет.

Ты, живущий вне наших сомнений и драм,
расточающий благостный свет по утрам.
Ты, кому с придыханием мы говорим:
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим! *
Ты, кого за печали свои не корим
и дороги к кому в бездорожье торим,
и за то, что живем, и за то, что горим,
и за то, что во имя Твое мы творим,
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим!

* Благодарствуй (*турецк.*)

Турецкая фантазия

Виртуозней и ловчее истамбульского шофера
в целом свете, как ни бейся, не найти.
Каждый выезд — авантюра, приключение, афера,
роковые неурядицы в пути.

Он садится на сиденье в предвкушенье наслаждений,
он сознательно готовится к борьбе.
Сколько в граде Истамбуле неподвиженных течений,
где спасение таится лишь в судьбе.

Но судьба, как я заметил, это детище счастливых,
это им звучит мотив ее трубы,
ну, а тем, кто видит счастье лишь в движеньях
суетливых,
не до жиру, не до милостей судьбы.

Вот Ахмет, он спозаранку чуть поел — и за баранку.
Он и кучер, он и рыцарь, он и плут,
и езда усугубляет его гордую осанку,
хоть шоферы ему форы не дают.

И когда машин лавины, словно танки, словно
льдины
разнести его на части норовят,
тут ему подспорьем служат опыт, риск, и жест
единый,
и судьба, и обаянье — все подряд.

Да, он вымотан, конечно. Да, чело покрыто потом,
но в какой-нибудь случайной чайхане
он, отхлебывая чинно чай густой, что пахнет медом,
как паломник исповедуется мне.

И сливаются нежданно лики Запада с Востоком,
кейф — с безумием, пускай лишь раз на дню,
но и скорбь о самом низком, но и мысли о высоком
под ленивую под нашу болтовню.

А потом опять баранка и коварная дорога,
и умение, и страсть, и волшебство...
Все безумное от Бога, все разумное от Бога,
человеческое тоже от него.

Песенка Белле

Машина — это дело.
Все остальное — пыль.
Вот деньги тебе, Белла:
купи автомобиль.

Садись за руль надежный,
дорожный мрак рассей,
лети на крик тревожный
спасать своих друзей.

И в том автомобиле
объезди целый свет...
Я дал бы тебе крылья,
да у меня их нет.

Благородные жены безумных поэтов,
от совсем молодых до старух,
героини поэм, и молвы, и куплетов,
обжигающих сердце и слух.

Вы провидицы яви, рожденной в подушках,
провозвестницы света в ночи,
ваши туфельки стоптаны на побегушках...
Вы и мужнины, вы и ничьи.

Благородные жены поэтов безумных,
как же мечетесь вы, семена
в коридорах судьбы, бестолковых и шумных,
в ожидании лучшего дня!

И распахнуты крылья любви вековые,
и до чуда рукою подать,
но у судеб финалы всегда роковые,
и соперницы чуду под стать.

Благородных поэтов безумные жены,
не зарекшись от тьмы и сумы,
ваши души сияют, как факел зажженный,
под которым блаженствуем мы.

В этом мире, изученном нами и старом,
что ж мы видим, спадая с лица?
Как уродец, согретый божественным даром,
согревает и ваши сердца.



Но каким бы он в жизни ни слыл безобразным,
слышим мы из угла своего,
как молитвы возносите вы ежечасно
за бессмертную душу его.

И когда он своею трепещущей ручкой
по бумаге проводит пером,
слышу я: колокольчик гремит однозвучный
на житейском просторе моем.

От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
там чужие пули рыщут,
там родная кровь течет.

Пулька в золотой сорочке
со свинцовым животом...
Нет на свете злей примочки,
да кого спросить о том?

Всем даруется победа,
не взаправду — так в душе.
Каждый смотрит на соседа,
а соседа нет уже.

Нас ведь создал Бог для счастья
каждого в своем краю.
Отчего ж глухие страсти
злобно сводят нас в бою?

Вот и прерван век недолгий,
и летят со всех сторон
письма, словно треуголки
Бонапартовых времен.

Ироническое обращение к генералу

Пока на свете нет войны,
вы в положении дурачком.
Не лучше ли шататься в штатском,
тем более, что все равны?

Хотя, с обратной стороны,
как мне того бы ни хотелось,
свои профессию и смелость
вы совершенствовать должны?

Ну что моряк на берегу?
Что прачка без воды и мыла?
И с тем, что и без войн вы — сила,
я согласиться не могу.

Хирургу нужен острый нож,
пилоту — высь, актеру — сцена,
геолог в поиске бесценно:
кто знает дело — тот хорош.

Воителю нужна война
разлуки, смерти и мученья,
бой, а не мирные ученья,
иначе грош ему цена.

Воителю нужна война
и громогласная победа,
а если все к парадам это —
то, значит, грош ему цена.

Так где же правда, генерал?
Подумывай об этом, право,
пока вышагиваешь браво,
предвидя радостный финал.

Когда ж сомненье захлестнет,
вглядись в глаза полкам и ротам:
пусть хоть за третьим поворотом
разгадка истины блеснет.

Детство

Я еду Тифлисом в пролетке.
Октябрь стоит золотой.
Осенние нарды и четки
повсюду стучат вразнойбой.

Сапожник согнулся над хромом,
лудильщик ударил в котел,
и с уличным гамом и громом
по городу праздник пошел.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
а что еще будет со мной!

Пустячное жизни мгновенье,
едва лишь запомнишь его,
но всюду царит вдохновенье,
и это превыше всего.

В застолье, в любви и коварстве,
от той и до этой стены,
и в воздухе, как в государстве,
все страсти в одну сведены.

Я еду Тифлисом в пролетке
и вижу, как осень кружит,
и локоть родной моей тетки
на белой подушке дрожит.

* * *

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Нянька

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
в закуточке у кухни сидела, чаек попивая,
напевая молитвы без слов золотым голоском,
словно жаворонок над зеленым еще колоском.

Акулина Ивановна, около храма Спасителя
ты меня наставляла, на тоненьких ножках просителя,
а уж после я душу сжигал, и дороги месил...
Не на то, знать, надеялся, и не о том, знать, просил.

По долинам, по взгорьям толпою текло
человечество.
Слева — поле и лес, справа — слезы, любовь
и отечество,
посредине лежали холодные руки судьбы,
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.

Ах, наверно, не зря распаялся небесною властью
твой российский костер над моею грузинскою
страстью,
узловатые руки сплетались теплей и добрей,
как молитва твоя над армянскою скорбью моей.

Акулина Ивановна, все мне из бед наших помнится.
Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится.
Оттого-то и сердце мое перебои дает,
и не только когда соловей за окошком поет.

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
все, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще, догорая,
все, что мы натворили, и все, что еще сотворим, —
словно утренний дым над тамбовским надгробьем
твоим.

Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть,
а потом взмахнуть руками, поднапрячься и взлететь
по чудесному капризу, по небесному лучу...
Проплывают лодки, рыбы, все плышет, а я лечу!

Пролетаю я над морем, над стамбульской Галатой.
Подо мною жизнь иная, Рог, довольно Золотой,
минареты и трамваи, и бараньи шашлыки...
А у нас — одни заботы, только слезы да штыки.

Вот стою уже я прочно на стамбульском берегу,
но гляжу на крымский берег, изогнувшийся в дугу.
Шею вытянул до хруста, мысли черные гоня:
неужели все впустую? Как там нынче без меня?

Что за грозные решенья долетают сквозь туман?
То ли впрямь разоруженье, то ли заново обман?
Что там будет? Кем мы были? Кто мы есть, и что
на нас ждет?
А на пристани турецкой собирается народ.

Все дела давно забыты, и веселье, и уют,
и они не тостов праздных и не манны с неба ждут,
ждут, чтобы Мазлум с Ахматом здесь, на краешке
земли,
с русского на их турецкий боль мою перевели.

* * *

Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии —
о Европе уж не говорю.

Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон.
Все, что наши года перепутали,
наострился распутывать он.

Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша,
и меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.

Прощайте, стихи, ваши строки, и ваши намеки,
и ваши вулканы погасли, и, видимо,
и струны,
пробил тот час...

И вот по капризу природы, по тайному знаку
фортуны
решается эта загадка: кто будет услышан из вас.

Когда вы так странно рождались, как будто входили
без спроса,
как будто с блаженной улыбкой с господского ели
стола,
вам все удавалось отменно, и были наглы вы, а проза
была, словно нищенка, нема и словно подачки
ждала.

Но вот, будто молнии, стрелы в глазах
неподвижных проснулись,
но вспыхнули, зарозовели неюные щеки ее.
И тотчас гусиные перья шершавой бумаги коснулись,
и тотчас ушли, не прощаясь, и быт, и беда, и вранье.

А там уж как Бог пожелает, а там уж как время
захочет,
а там что подскажет природа, а там что позволят
грехи...
Покуда шершавой бумаги хоть капля слезы
не омочит,
кто знает — что проза такое? Кто знает, что значат
стихи?

Американская фантазия

Л. Лосеву

Столица северного штата — прекрасный город
Монпелье.

Однако здесь жара такая, что хочется ходить в белье.
Да, да, в белье. Да, да, в исподнем. Да, да, пусть
даже в прошлогоднем,

а впрочем, лучше без него.

Как в том дарованном господнем, чтобы предстать
перед этим полднем рисунком тела своего.

Да, да, пожалуй обнаженным, лишь долларами
снаряженным,

в ладошке потной их держа,

И с этой потною ладошкой, как будто с деревянной
ложкой,

перед витринами кружа.

Моя московская ладошка, в тебя вложить совсем
немножко,

и эти райские места благословят мои уста.

Мои арбатские привычки к пустому хлебу и водичке
здесь обрывают тормоза, когда витрины бьют в глаза.

Удар — и вой в пустом желудке, не слишком
явственный, но жуткий,

людей пугающий окрест.

Мне нравится то, что в отдельном
фанерном домишке живу.
И то, что недугом смертельным
еще не сражен наяву,
и то, что погодам метельным
легко предаюсь без затей,
и то, что режимом постельным
не брезгаю с юных ногтей.

Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы раньше вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь...
Но жив я, мне сладко ложится —
за это чего не отдашь?

Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед,
а после в порыве сердечном,
пока за глазами черно,
меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.

Вот так и живу в Подмоскowie,
в заснеженном этом раю,
свое укрепляя здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье
и сладкие речи смешны,
слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.

Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой
и редкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.

И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистойой он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука,
но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.

На самом-то деле, представьте,
загадочней все и страшней,
и голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней,
и вместо напрасных проклятий,
смиряя слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.

Во мгле переделкинской пуши,
в разводах еловых стволов,
чем он торопливей, тем гуще,
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен,
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.

Жаркий полдень в Массачусетсе

Джоан Афферика

Какая-то птичка какой-то свисточек
настроила вдруг на июль голубой.
Не знает заботы, поет и стрекочет,
не помнит ни зла, ни обид за собой.

О, как неожидан дебют ее сольный!
Он так поражает и сердце и слух,
как дух Массачусетса, жаркий и вольный,
как Латвии дальней полуденный дух.

Я музыку эту лелею и холю
и каждую ноту ловлю и ценю,
как вновь обретенную вольную волю,
которую сам же всю жизнь хороню...

Шуршание клена. Молчанье гранита.
И птичка, поющая соло свое.
И трудно понять, где таится граница
меж болью моею и песней ее.

Вроцлав. Лиловые сумерки.
Первые соки земли.
Страхи вчерашние умерли,
новые — где-то вдали.

Будто на мартовском острове
не расставаясь живем,
всё еще братьями-сестрами
гордо друг друга зовем.

Нашу негромкую братию
не погубило вранье.
Всё еще, слава Создателю,
верим в спасенье свое.

Сколько бы мартов ни минуло,
как ни давила бы мгла,
только бы Польша не сгинула,
только б Россия смогла.

Полночь над Босфором. Время тишины.
Но в стамбульском мраке, что велик и нем,
крики моих предков преданных слышны...
Инч пити асем? Инч пити анем? *

Если б можно было, как заведено,
вытравить из сердца, позабыть совсем!
Но на древних плитах — черное пятно...
Инч пити анем? Инч пити асем?

Это ль не отрава? Это ли не яд?
Полночь быстротечна. Времени в обрез.
Если я не знаю, ты, мой дальний брат,
Инч пити асес? Инч пити анес? **

* Что должен сказать? Что должен сделать? (арм.)

** Что скажешь? Что сделаешь? (арм.)

* * *

Анатолию Рыбакову

Европа пьет водичку из Босфора
и Азия. Вода на всех одна.
Босфор для них — дорога и опора,
но кровь веков на дне его видна.

Неужто ради золота и пищи
от лет молодых до гробовой доски
мы столько поистратили кровящи,
что сердце холодеет от тоски?

За все платить приходится жестоко.
Все остальное — суета и прах.
За черный камень, брошенный в пророка,
за слезы на его похоронах.

Когда придут большие перемены —
не ради власти, злата и жратвы
очнется мир и вскроет себе вены
длиною от Босфора до Москвы.

Красный клен

Красный клен, мое почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
занимает мой досуг.

Каждый лист твой что-то важное
говорит ученику
в это жаркое и влажное
время года на веку.

Здесь из норвичского скверика
открывается глазам
первозданная Америка,
та, что знал по «голосам».

Здесь, как грамота охранная,
выдана на сорок дней
жизнь короткая и странная
мне и женщине моей.

Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди среди всех и выдели
мать сына моего.

Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

Он благоуханием так умашен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.

Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.

Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка,
те фронтовые, иные, м о и времена.

Может быть, наша судьба как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..

Романс

В. Никулину

В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех
красные и светло-голубые.

Наша жизнь разбита пополам,
да напрасно счет вести обидам.
Все сполна воздастся по делам
грустным и счастливым, и забытым.

И когда ударит главный час
и начнется наших душ поверка,
лишь бы только ни в одном из нас
прожитое нами не померкло.

Потому и сыплет первый снег.
В Иерусалиме небо близко.
Может быть, и короток наш век,
но его не вычеркнуть из списка.

Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.

Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.

Там живет мой друг приезжий,
распрощавшийся с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и снедаемый тоской.

Кипа, с темечка слетая,
не приручена пока...
Перед ним — Земля Святая,
а другая далека.

И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неутоленной,
нет страшней и слаще нет...

...Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну, а боль навеки с вами,
боль от перемены мест.

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-Богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придет,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведет
и словно сдуру что накличет.

Когда бы странником — пустяк,
что за вопрос — когда б с любовью,
пусть за деньгой — уж лучше так,
а не с буденными и с кровью.

Тем более, что в сих местах
с глухих столетий и поныне —
и мирный пламень на крестах,
и звон малиновый в пустыне.

Тем более, что на Святой
Земле всегда пребудут с нами
и Мандельштам, и Лев Толстой,
И Александр Сергеич сами.

* * *

Матушки Нонна и Анна,
здесь, в Гефсиманском саду,
гром и ледовая манна
этой зимою в ходу.

Снежное крошево льется,
но до скончания лет
солнышко все же пробьется —
в этом сомнения нет.

Матушки Анна и Нонна,
что ни грозило бы впредь,
небо глядит благосклонно —
будем любить и терпеть.

Подмосковная фантазия

В. Астафьеву

Ворон над Переделкином черную глотку рвет.
Он как персонаж из песни над головой кружится.
Я клювом назвать не осмеливаюсь
его вдохновенный рот,
складками обрамленный скорбными, как у провидца.

И видя глаз прозорливый, и слушая речи его,
исполненные предчувствий, отчаяния и желчи,
я птицей назвать не осмеливаюсь крылатое существо —
как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем.

Когда бы я был поэтом — я бы нашел слова
точные и единственные, не мучаясь, не морочась,
соответствующие склонностям этого существа
и скромным моим представлениям
о силе его пророчеств.

Но я всего стихотворец: так создан и так живу,
в пристрастии к строчке и рифме,
в безумии этом нелепом,
и вижу крылья, присущие этому существу,
но не пойму души его, ниспосланной ему небом.

Я выгляжу праздным и временным
в застывших его глазах,
когда он белое яблоко рассекает крылом небрежным.
Я здесь прозябаю, в малиннике,
он царствует в небесах,
и в этом его преимущество передо мною, грешным.

Я в Кёльне живу. Возле Копелева.
В Собор захожу по утрам.
Хватает еды мне и топлива,
и мало трагедий и драм.

Из этого, правда, не явствует,
что сытостью я оболещен,
и к людям, в их помыслы частные,
мой въедливый взор обращен.

А что в этих людях таинственных?
И чем они нынче полны?
И нет ли страстей в них воинственных,
а может, уколов вины?

Вот каменщик замер над кладкою,
вот с площади выметен сор,
и улицей, будто украдкою,
задумчивый едет таксёр.

Рабы философии будничной
надежнее прячут улов,
и дух круасанов из булочной
привычен, дразнящ и здоров.

Покуда пророки витийствуют
и учат, как праведно жить,
котомку фортуны единственную
хотя б до крыльца дотащить.

Как все-таки мало несхожего
во всем, что вокруг наяву...
— Ну как? — вопрошаю прохожего.
— Да так, — отвечает, — живу.

Весь город, как мальчик с обновочкой,
с какою-то тайной в глазах...
Здесь жили и Раечка с Левочкой —
да нынче она в небесах.

Со скоростью сто сорок километров
под музыку ночных французских ветров
я ехал из Нормандии в Париж.
Откинувшись лениво на сиденье,
не в «Жигулях» я ехал — в «ситроене»,
московский запоздалый нувориш.

Я песни пел, я с Францией общался,
в Париж к своим пенатам возвращался,
и не понять, откуда что бралось.
Я был почти что на верху блаженства,
и каждый жест был полон совершенства...
Как что-то вдруг во мне оборвалось.

Припомнилось, привиделось, приснилось,
пригрезилось, и все остановилось
на том углу, где был я юн и слеп,
в землянке той, не слишком-то удобной,
перед лицом моей фортуны злобной
я выронил из рук свой сладкий хлеб.

Грядущего бытья нечеткий профиль:
пора считать, да вроде час не пробил,
пора забыть, да как-то не с руки...
Что это было, Господи мой Боже?!
Нормандия. Апрель. Мороз по коже.
Ночной пейзаж. И всё — не пустяки.

Не то движенье это скоростное,
а может, просто что-то возрастное:
все радости — гори они в огне...
Когда-нибудь за жизнь свою вторую
я это все, конечно, расшифрую,
а нынче это недоступно мне.

Шмель в Массачусетсе

Ну надо же: шмель подмосковный
откуда куда залетел!
А свой пиджачишко посконный
для пущего форса надел.

А свой локоточек протертый
под крылышко спрятал слегка,
а лапкой как будто нетвердой
коснулся живого цветка.

Не склонный отнюдь к сантиментам,
он словно из ковшика пил
и с русским как будто акцентом
английские фразы бубнил.

Потом покачал головою,
пыльцу утирая со щек...
И вновь загудел над травую
шаляпинский чистый басок.

Памяти А. Д. Сахарова

Когда начинается речь, что пропала духовность,
что людям отныне дорога сквозь темень лежит,
в глазах удивленных и в душах святая готовность
пойти и погибнуть, как новое пламя, дрожит.

И это не есть обольщение или ошибка,
а это действительно гордое пламя костра,
и в пламени праведном этом надежды улыбка
на бледных губах проступает, и совесть остра.

Полночные их силуэты пугают загадкой.
С фортуны не спросишь — она свои тайны хранит.
И рано еще упиваться победою сладкой,
еще до рассвета далече... И сердце щемит.

На почве страха и тоски
рождаются в башке химеры.
Я трачу чистые листы,
изображая их манеры.

Срисовываю их с себя,
гляжу на них пугливым оком,
как, издеваясь и сопя,
они бесчинствуют под боком.

И искаженный профиль мой
со стороны всего виднее...
Пожалуй, не найти бледнее
перед сумою и тюрьмой.

* * *

Через два поколения выйдут на свет
люди, которых сегодня нет.

Им будут странными страхи мои,
искаженный овал моего лица.
Ниточка неразделенной любви
вонзится пулею в их сердца.
Им будет робость моя чужда,
они раскованней будут и злей...
Зависть, ненависть и вражда
взойдут над просторами их полей.

Давайте чашу высечем хрустальную
из голубого хрустала
под музыку резца печальную
в честь ловких пальцев кустаря.

Давайте позабудем дерзость вздорную
на диком берегу своем;
на чашу глядя ту, на рукотворную,
иные дали воспоем.

В который раз не зря ж мы души подняли
и речь о правде завели...
На свете нет заботы благороднее,
чем украшение земли.

Она нам всем — и первый крик, и матушка,
да и последнее жильё.
Ах, только б ни кровинушки, ни пятнышка
вовсеки на челе ее!

Новая Англия

Оле

Новая Англия. Старая песенка. Дождь. И овсяной
 лепешки похрустыванье.
И по траве неизвестного хищника след.
Что-то во всем вашем, ваше величество, облик
 неповторимое, грустное,
что-то такое, чему и названия нет.

Времечко, что ли, еще непривычное, облачко,
 слишком уж низко бредущее,
образ ли жизни, рожденный цветком луговым?
Или вам видится, ваше величество,
 непредсказуемым ваше грядущее,
или минувшее видится вам роковым?

Кто его знает, что завтра отыщется. Может, случится, —
 надежд увеличится.
Кто потеряет, а кто непременно найдет.
Новая Англия. Старая песенка. Что ж тут поделаешь,
 ваше величество:
что предназначено, то и стоит у ворот.

* * *

Покуда на экране куражится Сосо,
история все так же вращает колесо.

Когда же он устанет и скроется во тьму,
мы будем с прежней страстью прислуживать ему.

И лишь тогда, пожалуй, на место встанет все,
когда нас спросит правнук: «А кто такой Сосо?»

Перед витриной

Вот дурацкий манекен, расточающий улыбки.
Я гляжу через стекло. Он глядит поверх меня.
У него большая жизнь, у меня ж — одни ошибки...
Дайте мне хоть передышку и крылатого коня!

У него такой успех! Мне подобное не снится.
Вокруг барышни толпятся, и милиция свистит.
У него — почти что все, он — почти что заграница,
а с меня ведь время спросит и, конечно, не простит.

Мой отец погиб в тюрьме. Мама долго просидела.
Я сражался на войне, потому что верил в сны.
Жизнь меня не берегла и шпыняла то и дело.
Может, я бы стал поэтом, если б не было войны.

У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без медалей, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.

Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку, другую, подскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.

Так чего же я стою перед этою витриной
и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт?
Впрочем, мне держать ответ и туда идти с повинной,
где кончается дорога... А с него и спросу нет.

Как улыбается юный флейтист,
флейту к губам прижимая!
Как он наивен, и тонок, и чист!
Флейта в руках как живая.

Как он старается сам за двоих,
как вдохновенно все тело...
И до житейских печалей моих
что ему нынче за дело?

Вот он стоит у метро на углу,
душу раскрыв принародно,
флейту вонзая, как будто иглу,
в каждого поочередно.

Вот из прохладной ладони моей
в шапку монетка скатилась...
Значит, и мне тот ночной соловей —
кто он, скажите на милость?

Как голосок соловья ни хорош,
кем ни слыву я на свете,
нету гармонии ну ни на грош
в нашем счастливом дуэте.

* * *

Вот какое нынче время —
всё в проклятьях и в дыму...
Потому и рифма «бремя»
соответствует ему.

* * *

Ах, если бы можно уверенней
и четче в сей трудный момент:
расплывчатость чистых намерений —
не лучший к добру аргумент.

Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Все совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?

Всякая жизнь на земле — волшебство.
Болью земли своей страждем и мучимся,
а вот соседа любить своего
всё не научимся, всё не научимся.

Траты души не покрыть серебром.
Все, что случается, скоро кончается.
Зло, как и встарь, верховодит добром...
Впору отчаяться, впору отчаяться.

Всех и надежд-то на малую горсть,
и потому, знать, во тьме он и мечется,
гордый, и горький, и острый как гвоздь,
карий и страждущий глаз человечества.

Рай

Я в раю, где уют и улыбки,
и поклоны, и снова уют,
где не бьют за былые ошибки —
за мытарства хвалу воздают.

Как легко мне прощенье досталось!
Так, без пропуска, так, налегке...
То ли стража у врат зазевалась,
то ли шторм был на Стиксе-реке,
то ли стар тот Харон в своей лодке,
то ли пьян как трактирный лакей...

«Это хто ж там, пугливый и кроткий?
Не тушуйся, все будет о'кей.
Не преминем до места доставить,
в этом я побожиться могу...
Но гитару придется оставить
в прежней жизни, на том берегу.
И претензии к прошлому миру,
и дорогу обратно домой...»

И сулил мне то арфу, то лиру,
то свирель с золотою каймой.
Но, заласканный сладким тем бредом,
дней былых позабыть не могу:
то ли продал кого, то ли предал,
то ли выдал на том берегу.

* * *

Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременны,
лишь ручку свою ты до них дотяни.

А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится все то, что хотим?
Да, все совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.

* * *

Погода что-то портится,
тусклее как-то свет.
Во что-то верить хочется,
да образцов все нет.

* * *

Украшение жизни моей:
засыпающих птиц перепалка,
роза, сумерки, шелест ветвей
и аллеи Саксонского парка.

И не горечь за прошлые дни,
за нехватку любви и ласки...
Все уходит: и боль, и огни,
и недолгий мой полдень варшавский.

* * *

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили —
два праведных знака в судьбе.

Когда же он стал «патриотом»
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло: смешался с толпой.

Мнение пана Ольбрыхского

Русские принесли Польше много
зла, и я презираю их язык...

(анонимная записка из зала)

«Язык не виноват, — заметил пан Ольбрыхский, —
все создает его неповторимый лик:
базарной болтовни обсевки и огрызки,
и дружеский бубнеж, и строки вечных книг.

Сливаются в одно слова и подголоски,
и не в чем упрекать Варшаву и Москву...
Виновен не язык, а подлый дух холопский —
варшавский ли, московский — в отравленном мозгу.

Когда огонь вражды безжалостней и круче,
и нож дрожит в руке, и в прорезь смотрит глаз,
при чем же здесь язык, великий и могучий,
вместилище любви и до и после нас?»

* * *

Лучше безумствовать в черной тоске,
чем от прохожих глаза свои прятать.
Лучше в Варшаве грустить по Москве,
чем на Арбате по прошлому плакать.

* * *

Лицо у завистника серое с желтым оттенком,
поэтому он благодарен житейским потемкам,
где цвет этот странный как будто размазан
по стенкам,
ну чтоб поприличнее, что ли, пробиться к потомкам.

* * *

Вот постарел, и стало холодно, и стало тихо
на земле.
Не то чтоб шум житейский кончился и крики
сгнули во мгле.
Нет-нет, и крики продолжаются, и розы
красные в соку,
и солнце жжет... А мне вот холодно — никак
согреться не могу.

* * *

Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя.
Чего не заработал — не проси.
Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя
всего вершок — попробуй укуси.

Час утренний — делам, любви — вечерний,
раздумьям — осень, бодрости — зима...
Весь мир устроен из ограничений,
чтобы от счастья не сойти с ума.

Памяти Давида Самойлова

Что происходит под нашими крышами,
в наших сердцах, среди своих и чужих?
Вижу потомка я профиль возвышенный
и удивленье в глазах голубых.

Да, мы старались, да вот пригодится ли
наше старанье на все времена?

Дезик, мне дороги наши традиции:
верность, виктория, вобла, война,

воля, восторг, вероятность везения,
все, что угасло, как детские сны...

Да не померкнут в лукавом забвении
гении нашей кровавой вины!

И, растворяясь по капельке в воздухе,
может, когда-нибудь выйдут на свет
сладость раскаянья, слезы и отзвуки
боли, чему и названия нет.

Песенка

На пригорке стояла усадебка.
До сих пор ее остов не срыт.
То поминки, то святки, то свадебка
за деревьями вдруг прошумит.

Там когда-то пылало пожарище,
низвергались и жизнь, и покой,
и какая-то грустная барышня
на прощанье взмахнула рукой.

И во власть расставания отдана,
за морями искала жильё.
Тротуары Стамбула и Лондона
закачались под ножкой ее.

Силуэт ее скорбный рассеялся
на далеком чужом берегу...
Я глумился над ней и посмеивался,
а забыть до сих пор не могу.

* * *

Я обнимаю всех живых
и плачу над умершими,
но вижу замершими их,
глаза их чуть померкшими.

Их души вечные летят
над злом и над соблазнами.
Я верю, что они следят,
как плачем мы и празднуем.

Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы,
и горечь на устах.

Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький рок, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм.

Когда толпа внизу кричит и стонет,
что — гордый ум и честь?
Их мало так, что ничего не стоит
по пальцам перечесть.

Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж...
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном пейзаж?

Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть — всё скифы, скифы, скифы...
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба,
мне кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них — толпа.

**Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
и за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.**

В альбом

И. Лиснянской

Что нам досталось, Инна,
как поглядеть окрест?
Прекрасная картина
сомнительных торжеств,
поверженные храмы
и вера в светлый день,
тревожный шепот мамы
и Арарата тень.

А что осталось, Инна,
как поглядеть вокруг?
Бескрайняя равнина,
и взмах родимых рук,
и робкие надежды,
что не подбит итог,
что жизнь течет, как прежде,
хоть и слезой со щек.

* * *

**«Шибко грамотным» в обществе нашем
неуютно и как-то темно.
Нет, не грохот проклятий им страшен —
злой шепот, возникший давно.**

* * *

Был Лондон предо мной. А нынче вновь все то же.
Был Лондон предо мной и чистое крыльцо.
Был Лондон предо мной. А нынче — дрожь по коже
и родины больной родимое лицо.

* * *

Резо Габриадзе

А вот Резо — король марионеток —
чей тонок вкус и каждый палец меток:
марионетки из его ребра.
В них много и насмешки, и добра.

И нами управляет Провиденье,
хоть ниточек и скрыта череда...
Но как похожи мы! Вот совпадение!..
Не обольщайтесь волей, господя!

* * *

Нынче я живу отшельником
меж осинником и ельником,
среди лени и труда.
И мои телохранители —
не друзья и не родители...
Солнце, воздух и вода.

Поверившие в сны крамольные,
владельцы злата и оков,
наверно, что-то проворонили
во тьме растаявших веков.

И как узнать, что там за окнами?
Какой у времени расчет?..
Лишь дрожь в душе, и плечи согнуты,
и слезы едкие — со щек.

Но эти поздние рыдания
нас убеждают неспроста,
что вечный мир спасут страдания,
а не любовь и красота.

* * *

Ничего, что поздняя поверка.
Все, что заработал, то твое.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про нее.

Памяти Алеся Адамовича

Старость — явление не возрастное.
То ли итог поединка с судьбой,
то ли, быть может, предчувствие злое,
то ли сведение счетов с собой.

И ни один златоустый потомок
не извлечет вдохновенно на свет
из отдаленных ли, близких потемок
то, чего не было вовсе и нет.

Вот и дочитана сладкая книжка,
долгие годы в одно сведены,
и замирает обложка, как крышка,
с обозначением точной цены.

Свадебное фото

*Памяти Ольги Окуджава
и Галактиона Табидзе*

Тетя Оля, ты — уже история:
нет тебя — ты только лишь была.
Вот твоя ромашка, та, которая
из твоей могилки проросла.

Вот поэт, тогда тебя любивший,
муж хмельной — небесное дитя,
сам былой, из той печали бывшей,
из того свинцового житья.

А на фото свадебном, на тусклом,
ты еще не знаешь ничего:
ни про пулю меж Орлом и Курском,
ни про слезы тайные его.

Вот и восседаешь рядом тихо
у нестрашных, у входных дверей,
словно маленькая олениха,
не слышавшая про егерей.

Отъезд

Владимиру Спивакову

С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой землице припасть.

Ну а попутчик мой, этот молоденький,
радостных слез не стирает с лица.
Что ему думать про век свой коротенький?
Он лишь про музыку, чтоб до конца.

Времени нету на долгие проводы...
Да неужели уже не нужны
слезы, что были недаром ведь пролиты,
крылья, что были не зря ведь даны?

Ну а попутчик мой ручкою нервной
машет и машет фортуне своей,
нотку одну лишь нащупает верную —
и заливается, как соловей.

Руки мои на коленях покоятся,
вздых безнадежный густеет в груди:
там, за спиной — «До свиданья, околица!»...
И ничего, ничего впереди.

Ну а попутчик мой божеской выпечки,
не покладая стараний своих,
то он на флейточке, то он на скрипочке,
то на валторне поет за двоих.

* * *

От стужи, от метелей и от вьюг,
от полчищ соплеменников несчастных,
бывало, улетали мы на юг
для поисков пристанищ безопасных.

Так жили мы в иные времена,
но давние дороги позабыты,
и к северу торопится война,
и юг сожжен, и компасы разбиты.

Пророчества сбываются теперь.
Видать, пришло им времечко сбываться:
распахиваю запертую дверь,
но... продолжаю, как всегда, бояться.

* * *

Мгновенна нашей жизни повесть,
такой короткий промежуток,
шажок, и мы уже не те...
Но совесть, совесть, совесть, совесть
в любом отрезке наших суток
должна храниться в чистоте.

За это, что ни говорите,
чтоб все сложилось справедливо,
как суждено, от А до Я,
платите, милые, платите
без громких слов и без надрыва,
по воле страстного порыва,
ни слез, ни сердца не тая.

* * *

**Вымирает мое поколение,
собралось у двери проходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.**

Меня удручают размеры страны проживания.
Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.
Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее
мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,
одетое в бархат и золото, в прах и рваньё —
гордится величиём! И все-таки слово «великое»
относится больше к размерам, чем к сути ее.

Пространство меня удручает, влечет, настораживает,
оно — как посуды слепому на шатком крыльце:
то белое, красное, серое, то вдруг оранжевое,
а то голубое... Но черное в самом конце.



* * *

История, перечь ей — не перечь,
сама себе хозяйка и опора.
Да здравствует, кто сможет уберечь
ее труды от суетного вздора!

Да, не на всех нисходит благодать,
не всем благоприятствует теченье.
Да здравствует, кто сможет разгадать
не жизни цель, а свет предназначенья!

* * *

Малиновка свистнет и тут же замрет,
как будто я должен без слов догадаться,
что значит все это и что меня ждет,
куда мне идти и чего мне бояться.

Напрасных надежд долгожданный канун.
Березовый лист на лету бронзовеет.
Уж поздно. Никто никого не заменит...
Лишь долгое эхо оборванных струн.

Обольщение

В старинном зеркале стенном, потрескавшемся,
тускловатом,
хлебнувший всякого с лихвой, я выгляжу
аристократом
и млею, и горжусь собою, и с укоризною гляжу
на соплеменников ничтожных — сожителей по этажу.

Какие жалкие у них телодвижения и лица!
Не то что гордый профиль мой, достойный
с вечностию слиться.
Какие подлые повадки и ухищрения у них!
Не то что зов фортуны сладкий и торжество надежд
моих.

Знать, высший смысл в моей судьбе златые
предсказали трубы...
Вот так я мыслю о себе, надменно поджимая губы,
и так с надеждою слепую в стекло туманное гляжусь,
пока холопской пятернею к щеке своей не
прикоснусь.

Тщеславие нас всех подогревает.
Пока ж никто и не подозревает,
как мы полны тщеславием своим,
давайте в скромных позах постоим.

А это значит: не боксер на ринге,
не заводила — оторви да брось,
а глазки в пол, а ручки на ширинке,
а пятки вместе, а носочки врозь.

И вот тогда удача улыбнется,
тогда и постреляем по своим.
Кто рвется к власти — всласть ее нажрется...
А нынче в скромных позах постоим.

* * *

Что есть полоски бересты,
разбросанные перед нами?
Они — как чистые листы,
украшенные письменами.

Из тех рисунков и значков
к ним, в нашу жизнь, под наши своды
врывается из тьмы веков
исповедальный крик природы.

Непраздным опытом полна,
она тот крик в листы заносит,
и что-то все твердит она:
предупреждает или просит?

На улице моей беды стоит ненастная погода,
шумят осенние деревья, листвою блеклою соря.
На улице моих утрат зиме господствовать полгода:
все ближе, все неумолимей разбойный холод
декабря.

На улице моей судьбы не все возвышенно и гладко...
Но теплых стен скупая кладка? А дым колечком
из трубы?
А звук неумершей трубы, хоть все так призрачно
и шатко?
А та синица, как загадка, на улице моей судьбы?..

Звезда Голливуда

Д. А. Половец

Вот Дина Абрамовна с улыбкой Фаины Раневской, с ее же глазами, которых не спутаешь: не с кем, еврейская женщина родом от Красных ворот, где всё раскололось однажды, а в поисках адреса возможно, представьте, попасть и в объятья Лос-Анджелеса, что реже случается именно наоборот.

Да, это, конечно, значительно реже случается. И надо же так нахлебаться, нажраться, отчаяться, что станут профессией Боль, и Надежда, и Даль. А там уж, естественно, белых платочков махание и радостный вздох, а потом затрудненность дыхания, поскольку разлука — не только «отчалъ да причаль».

И вот она в городе, где проживают колибри и Господа славят, где домики к скалам прилипли, а рядом течет по-арбатски знакомо Ферфакс... И если взглядеться в его тротуары отсюда, Вы, Дина Абрамовна, словно звезда Голливуда, плывете спокойно. В авто. Мимо них. Просто так-с.

Манхэттен

Променады по Манхэттену... Загадочен Манхэттен!
Даже стреляный арбатец и начитанный при этом
удивляется, как топчется на стертом пяточке
забастовщик в черном галстуке, в тугом воротничке.

Или видит он воочию бродвейскую премьеру,
или хиппи, или мусорщика, стройного не в меру,
и различные картинки в этой каменной глуши:
ленты, кружева, ботинки — что угодно для души!

И тогда его охватывает, этого арбатца,
мир, в который ему выпало так призрачно
пробраться,
и хотя над ним трепещут еще прежние крыла,
но в башке уже колотятся нью-йоркские дела.

Мир компьютеров и кнопок!.. Чем же мы не угодили?
Отчего же своевременно нас не предупредили,
чтоб мы знали: что посеем — то и будем пожинать?
Отчего нас не на кнопочки учили нажимать?

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждет и кто
поможет?

Или снова нас надежда на удачу облапошит?
Или все же в грудь сомнений просочится
тайный яд?

Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

Марусенька

Какая грусть — лететь в полничном поезде
среди степей и прочих гиблых мест...
Едва хлебнешь начала этой повести,
опомнишься, как вдруг упрешься в Брест.

Марусенька, ты, словно незаконная,
вдруг вынырнешь из темного угла
и побежишь, а в сердце — дурь вагонная,
а на весу — кошелки барахла.

Там, в облаке, под крышею вокзальной
прозрачный ангел вьется и кружит.
Чем связан он с судьбой твоей печальной?
Как горек хлеб! Как времечко бежит!

Бегут за нами следом обещания
счастливых дней, которых так хотим...
Марусенька, той станции прощания,
тех фонарей огонь неотвратим.

Но будет впрок сумятица вечерняя
и добрый знак твоим младым летам,
что тайна твоего предназначения
не здесь, не здесь — а там, а там, а там...

Пускай судьба ковры не стелет под ноги,
но не забудь совсем в иные дни,
Марусенька, сама витая в облаке,
ты обо мне украдкой вспомяни.

* * *

Новелле Матвеевой

Мы — романтики старой закалки
из минувшей и страшной поры.
Мы явились на свет из-под палки,
чтоб воспеть городские дворы.

Струн касались рукою привычной,
и метался меж нами, как зверь,
целомудренный ангел столичный,
одурев от любви и потерь.

Ну а нынче, запутавшись между
давней страстью своей и виной,
расплатиться хотим за надежду
самой горькой дворовой ценой.

Под копытами снег голубой примят.
Еду в возке я по чужой стороне...
Так грустно, брат мой, грустно, мой брат!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Там горит огонек у того леска.
Еду в возке я. Дуга на коне...
Все тоска окружает, тоска, тоска!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Все чужие леса да чужая даль.
И мороз страшней, и душа в огне...
А печаль-то, мой брат, печаль, печаль!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Ехал всадник на коне.
Артиллерия орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне...
Иллюстрация к войне.

Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь...
Все затянется к утру...
Иллюстрация к добру.

Мир замешан на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит —
ниточку не оборви...
Иллюстрация к любви.

Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает.
А потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно.
Ничего дурного в том: в жизни всякое бывает —
то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно.

Так за что ж его тогда не любили наши власти?
За российские ли страсти? За корейские ль глаза?
Может быть, его считали иудеем? Вот так здарсьте!
Может, чудились им в песнях диссидентов голоса?

Страхи прежние в былом. Вот он плачет и смеется,
и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам.
Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то
вьется...

Это видно по усмешке, по походке, по глазам.

Песенка Льва Разгона

- Лева, как ты молодо выглядишь!
- А меня долго держали в холодильнике... (в лагере)

Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.

Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою —
пусть маленький, но феномен.

По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

А. Приставкину

Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!
Настолько, насколько прекраснее солнце, чем тьма.
Лишь только начнешь размышлять над своею
судьбою,
как тотчас в башке — то печаль, то сума, то тюрьма.

А долго ль еще колесить нам по этим дорогам
с тоскою в глазах и с сумой на сутулой спине?
И кто виноват, если выбор, дарованный Богом,
выходит нам боком? По нашей, по нашей вине.

Конечно, когда-нибудь будет конец этой драме,
а нынче все то же, что нам непонятно самим:
насколько прекрасней портрет наш в ореховой раме,
чем мы, брат, с тобою, лежащие в прахе пред ним!

В карете прошлого

1

В карету прошлого сажусь. Друзья в восторге.
Окрестный люд весь двор заполонил.
Тюльпаны в гривах вороной четверки,
и розу кучер к шляпе прицепил.
С улыбкою я слышу из-за шторки
ликующий шумок скороговорки...
Не понимаю: чем я угодил?
Как будто хлынул свет во все каморки,
которыми кишат еще задворки,
как прошлого неповторимый жест...
Не понимаю сути сих торжеств.

2

Я что хочу? В минувший век пробраться.
Быть может, там — секреты бытия,
что так бездарно в канувшем таятся
и без которых нынче жалок я.
Вот и рискую. А куда деваться?
И обойдусь, такое может случиться,
без ваших правд и вашего вранья.
Как просто все! Чего же тут бояться?
И визы ведь не нужно добиваться
и всяких циркуляров и словес,
пожалованных будто бы с небес.

3

Мы трогаемся. Тут же ироничный,
 глумливый хор арбатский слышен вслед.
 Как понимать? На мне костюм приличный,
 не под судом, долгов как будто нет.
 Я здесь рожден, я — баловень столичный,
 к мытарствам и к хуле давно привычный...
 Не понимаю: чем я застю свет?
 Кому мешает мой поступок личный?
 Чей шепоток несется фанатичный,
 что мне, мол, не уехать далеко?..
 Не понимаю: едетя легко.

4

Откинувшись, я еду по бульварам,
 Пречистенке, Никитской и Сенной.
 Вот дворник с запотевшим самоваром,
 а вот субботний митинг у пивной,
 где некто норовит надраться даром.
 Его городской порочит с жаром,
 а барышня обходит стороной.
 Попахивает анекдотцем старым
 с папашей-недотепой и гусаром...
 И в этот водевильный ералаш
 въезжает мой стерильный экипаж.

5

Стоит июль безветренный и знойный,
 на козлах кучер головой поник,
 Мясницкою плетется скот убойный
 (народ не только баснями велик).
 Виновного в тюрьму ведет конвойный,
 и оба лучшей участи достойны,
 но каждый к э т о й участи привык.
 Прошла война, грядут другие войны,

их воспевают бардов хор нестройный,
героев прославляя имена
всё те же, что и в наши времена.

6

Минувшее мне мнится водевильным,
крикливым, как пасхальное яйцо.
Под ярмарочным гримом, под обильным,
лубочное блестит его лицо.
Потряхивая бутафорским, пыльным
отрепьем то военным, то гражданским,
комедиант взбегает на крыльцо
и голосом глухим и замогильным
с каким-то придыханием бессильным
вещает вздор, сивухую томим...
Минувшее мне видится таким.

7

И все-таки я навзничь пораженным
не падаю. Не проявляю прыть.
На всем пути, в былое протяженном,
Америки, я вижу, не открыть.
И не каким-то городским пижоном,
а путником, в раздумья погруженным,
я продолжаю потихоньку плыть;
все тем же завсегдаем прожженным,
картинками из быта окруженным...
Кого-то, знать, их правда потрясла,
но не меня. Я не из их числа.

8

И вижу: ба, знакомые всё лица
и речи, и грехи из года в год!
В одежке, может, малая крупца
нас различает — прочее не в счет.
Так стоило ли в даль сию тащиться,

чтоб выведать, в чем разница таится?
Уж эта ловля блох из рода в род!..
Куда течешь, ленивая столица?
Успел уже и кучер притомиться:
Он в этом разбирается весьма,
хоть не учил ни счета, ни письма.

9

Отбив бока и с привкусом отравы
во рту, я поздно начал понимать:
для поисков мифической державы
вояжи ни к чему предпринимать,
итоги их, как водится, лукавы,
а за пределы выходить заставы —
ну разве что суставы поразмять.
Дворовые пророчества, вы правы:
я жертвой стал совсем пустой забавы,
с которой с детства кем-то связан был...
Движение я переоценил!

10

«Дай Бог», — я говорил и клялся Богом,
«Бог с ним», — врага прощая, говорил
так, буднично и невысоким слогом,
так, между дел, без неба и без крыл.
Я был воспитан в атеизме строгом.
Перед церковным не вздыхал порогом,
но то, что я в вояже том открыл,
скитаясь по минувшего дорогам,
заставило подумать вдруг о многом.
Не лишним был раздумий тех итог:
пусть Бога нет, но что же значит Бог?

11

Гармония материи и духа?
Слияние мечты и бытия?

Пока во мне все это зреет глухо,
я глух и нем, и неразумен я.
Лишь шум толпы влетает в оба уха.
И как тут быть? Несовершенство слуха?
А прозорливость гордая моя?
Как шепоток, когда в гортани сухо,
как в просторечье говорят, «непруха»...
А Бог, на все взирающий в тиши, —
гармония пространства и души.

12

Скорей назад, покуда вечер поздний
движенья моего не перекрыл!
И там и здесь — одни и те же козни,
добро и зло, и пагубность чернил,
кровавой сечи шум и запах розни,
хотя неумолимей и серьезней,
но тот же, тот же, что и прежде был...
И всякий день, то знойный, то морозный,
нам предстает судьбою нашей грозной.
История нам кажется дурной.
А сами мы?.. А кто тому виной?..

13

И в наши дни, да и в минувшем веке,
как это парадоксом ни зови,
всё те же страсти бьются в человеке:
в его мозгу и в жестах, и в крови.
Всех нас ведет путеводитель некий,
он сам приподымает наши веки,
и нас сжигает то огонь любви,
а то страданье о родимом бреге,
то слепота от сытости и неги...
А то вдруг распояшется толпа,
откинув чубчик праздничный со лба.

...Чем тягостней кареты продвиженье,
тем кажется напраснее езда.
Печально распалить воображенье,
но расслаблять не стоит повода.
Крушение надежд — не поражение,
и наших лиц святое выраженье,
авось, не исказится от стыда.
Стакан вина снимает напряженье...
Как сладостно к пенатам возвращенье!
Да не покинем дома своего,
чтоб с нами не случилось бы чего.

Романс

Не предвкушай счастливых дней,
преподнесенных небесами.
Омыты горькими слезами,
они взойдут в душе твоей.

И времечко не то, и свечка оплыла.
Из всяких громких слов рубахи не сошьешь.
Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила,
ведь я и сам живу, покуда ты живешь.

Не жди безоблачной любви,
и громогласной и безгрешной:
она ведь не простор безбрежный,
а тайный сговор меж людьми.

Любовь то вознесет, раскинувши крыла,
то сгубит ни за грош, а что с нее возьмешь?
Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила,
да я и сам живу, покуда ты живешь.

К потомкам

**Вы размахнетесь крылами — все как надо, что ни взмах,
разноцветные ворота к храмам раскрывая.
Мы ж исчезнем так банально со слезами на глазах.
Будет вам над чем смеяться, недоумевая.**

**И не то чтобы случайно: мол, ошиблись в тесноте,
а намеренно, надменно, как приговорили:
мол, не стоит оправданий, мол, другие вы, не те...
Мы не те? Да вы-то те ли? Те ли? Да и вы ли?**

**А на рубище елейном, а на праведных шелках —
кровь и ложь, все наше с вами — то плаха, то пашня...
Нам бы с песней в чисто поле — да оружие в руках!
Нам обняться бы навеки — да в обнимку страшно!**

* * *

Я люблю! Да, люблю!

Без любви я совсем одинок.

Я отверженных вдоволь встречал,

я встречал победителей.

Но люблю не столицу,

а Пёски, Таганку, Щипок,

и люблю не народ,

а отдельных его представителей.

* * *

Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесем,
а нежный взгляд, а поцелуй — любви сладкое
коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий треп о том, о сем.

* * *

Уроки пальбы бесполезны —
они словно поздний недуг.
И вы свой характер железный
поглубже упрячьте, мой друг.

Он был и воспет и освистан
по возрасту и по судьбе.
А нынче уже не до истин,
а только презренье к себе.

Что было, то было. Минувшее не оживает.
Ничто ничего никуда никого не зовет.
И немец, застреленный Ленькой, в раю проживает,
и Ленька, застреленный немцем, в соседях живет.

Что было, то было. Не нужно ни славы, ни денег.
По кущам и рощам гуляют они налегке.
То перышки белые чистят, то яблочко делят,
то сладкие речи на райском ведут языке.

Что было, то было. И я по окопам полазил
и всласть пострелял по живым — все одно к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?..
...А справиться негде. И поздно решать самому.

Роза сентябрьская из Подмосковья
так добросердна и так высока,
будто небесное в ней и мирское,
даже случайное, но на века.

И не какой-то там барышней жаркой,
красное платьице взяв поносить,
вдруг обернется ордынской татаркой:
только про милость ее и просить.

Ну а покуда мы жизнь свою тешим
и притворяемся, будто творим,
всё — в лепестках ее неоскудевших:
страсть, и разлука, и вечность, и Рим.

* * *

Что жизнь прекрасней смерти — аксиома,
осознанная с возрастом вдвойне...
Но если умирать, то только дома:
поля сражений нынче не по мне.

Да, старость. Да, финал. И что винить года?
Как это все сошлось, устроилось, совпало!
Мне повезло, что жизнь померкла лишь тогда,
когда мое перо усердствовать устало!

Оно как добрый знак — на краешке стола
лежит перед листом, разглаженным и новым.
Не время их свело, а жажда их свела,
не блажь и не каприз, а восхищенье словом.

Отгородясь на век от праздничных сует,
лишь букву и мотив приемлют, словно братья...
Знать, есть особый смысл и вдохновенный свет
и в высшей их вражде, и в их рукопожатье.

**Что мир без нас,
без вместе взятых?**

А. Гладилину

Еще не перечитаны все книжки,
сердец не омрачи, разлуки тень,
я, старый человек, тебе, мальчишке,
шлю поздравленье в юбилейный день.

История литературы нашей
капризна, переменчива и зла,
и выглядит счастливый век проспавшей,
и новых козней ждет из-за угла.

А мы опять чураемся безверья,
пока скорбим и помыслы чисты,
и сладко рисковать, и наши перья
нацелены на белые листы.

Душа горит, нога достала стремя,
не жди похвал, о славе позабудь:
ведь что мы есть — решат молва и время
уже без нас. Потом. Когда-нибудь.

И ты, мой друг, теперь уже парижский,
глядишь на мир с порога своего...
Что нам с тобой до прихотей прописки?
Теперь она не значит ничего.

Что этот мир без нас, без вместе взятых?
Он весь расположился у крыльца.
А хроника времен пятидесятих —
не кончилась.
И нету ей конца.

Б. Кархофф

Когда петух над марбургским собором
пророчит ночь и предрекает тьму,
его усердье не считайте вздором,
но счеты предъявляйте не ему.

Он это так заигрывает с нами
и самоутверждается притом.
А подлинную ночь несем мы сами
себе самим, не ведая о том.

Он воспевает лишь рассвет прекрасный
или закат и праведную ночь.
А это мы, что над добром не властны,
стараясь и совесть превозмочь.

Кричи, петух, на марбургском соборе,
насмешничай, пугай, грози поджечь,
пока мы живы и пока мы в горе,
но есть надежда нас предостеречь.

Впечатление

Вниз поглядишь — там вздыхает Париж,
именно он, от асфальта до крыш.
Вверх поглядишь — там созвездия крыш:
крылья расправишь и тут же взлетишь.

Вот я взлетаю на самую крышу.
Что же я вижу? Что же я слышу?
Вижу скрещение разных дорог.
Слышу знакомый Москвы говорок.

Там проживает Миша Федотов,
там отдыхает, день отработав,
там собираются время от времени
стайки гостей из российского племени
передохнуть от родимого бремени,
вдруг залетевшие в этот Париж,
где не захочешь, да воспарись.

Из альбома маленького музея

Кукольному дому

Между небом и кукольным племенем
расстоянье — всего ничего.
И, рожденные будто бы временем,
все ж они понадежней его.

Что б ни каркали там злопыхатели
о кончине добра и любви,
даже в бурю его обитатели
остаются, представьте, людьми.

* * *

Что им нужно для комфорта?
Тряпочки любого сорта,
стеклышки и камешки, и речки.
Куклы, куколки, кукленки,
кто во фраке, кто в дублёнке,
а кто — просто в старой телогреечке.

Мы от жадности сгораем,
мы в политику играем,
мы больны банальным вожделием.
А у них — покой прекрасный,
и к добру они пристрастны,
и на нас взирают с сожалением.

Антону

Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.
Разве прекрасное в шумной компании может
родиться?
Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:
в уши разверстые только напрасная просится речь.

Папочка твой не случайно сработал надежный свой
кокон.
Он состоит из дубовых дверей и зашторенных окон.
Он состоит из надменных замков и щеколд золотых...
Лица незванные с благоговением смотрят на них.

Чем же твой папочка в коконе этом прокуренном
занят?
Верит ли в то, что перо не продаст, что строка
не обманет?
Верит ли вновь, как всю жизнь, в обольщения
вечных химер:
в гибель зловещего Зла и в победу Добра, например?

Шумные гости, не то чтобы циники — дети стихии,
ищут себе вдохновенья и радостей в годы лихие,
не замечая, как вновь во все стороны щепки летят,
черного Зла не боятся, да вот и Добра не хотят.

Все справедливо. Там новые звуки рождаются глухо.
Это мелодия. К ней и повернуто папочки ухо.
Но неуверенно как-то склоняется вниз голова:
музыка нравится, но непонятные льются слова.

Папочка делает вид, что и нынче он истиной правит.
То ли и впрямь не устал обольщаться, а то ли лукавит,
что, мол, гармония с верою будут в одно сведены...
Только никто не дает за нее даже малой цены.

Все справедливо. И пусть он лелеет и холит свой кокон.
Вы же ликуйте и иронизируйте шумно и скопом,
но погрузите хотя бы, увидев, как сходит на нет
серый, чужой, старомодный, сутулый его силуэт.



Содержание

«Часики бьют так задумчиво...»	5
«У Спаса на Кружке забыто наше детство...»	6
«Как время беспощадно...»	7
Проводы у военкомата	8
«О, фантазии на темы...»	9
«На Сретенке ночной надежды голос слышен...»	10
Романс («Стали чаще и чаще являться ко мне...»)	11
«Как хорошо, что Зворыкин уехал...»	12
«Гомон площади Петровской...»	13
О Володе Высоцком	15
Еще один романс	16
«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...»	17
«Не успел на жизнь обидеться...»	19
Кухня	21
Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»	22
Август в Латвии	24
«У поэта соперников нету...»	25
«С последней каланчи, в Сокольниках стоящей...»	26
«Ну что, генералиссимус прекрасный...»	27
Воспоминание о Дне Победы	28
«Приносит письма письмоносец...»	29
Несчастье	31
«Черный ворон сквозь белое облако глянет...»	33
Работа	35
Песенка о молодом гусаре	37
Надпись на камне	38

Арбатские напевы	39
1. «Все кончается неумолимо...»	39
2. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...»	40
«Я горой за сюжетную прозу...»	42
«Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...»	45
Прогулки фраеров	46
Парижская фантазия	48
«Нужны ли гусару сомненья...»	50
Полдень в деревне	52
Дорожная песня	55
Настольные лампы	56
«Глас трубы над городами...»	58
Примета	60
«Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...»	61
«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел...»	62
Перед телевизором	63
«Кого бояться и чего стесняться?..»	64
«Все глуше музыка души...»	65
«Под Мамонтовкой жгут костры...»	66
«Как наш двор ни обижали – он в классической поре...»	67
Мой почтальон	68
«По Грузинскому валу воинственно ставя носок...»	69
«Пока от вранья не отвыкнем...»	71
«Шестидесятники развенчивать усатого должны...»	72
«Славная компания... Что же мне решить?..»	73
Памяти брата моего Гиви	74
Гимн уюту	75
«Не сольются никогда зимы долгие и лета...»	77
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?..»	78
Письмо к маме	79
«После дождичка небеса просторны...»	81
Памяти Обуховой	82
«Мне не в радость этот номер...»	83
«Отчего ты печален, художник...»	84
Дунайская фантазия	85
Калужская фантазия	87
Прощальная песенка волковских актеров	89
«Вечера французской песни...»	90

«От нервов ли, от напряженья...»	92
«Все забуду про тревогу...»	93
«На полянке разминаются оркестры духовые...»	94
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве	95
«На полотне у Аллы Беляковой...»	97
Дерзость, или Разговор перед боем	98
Мое поколение	99
«В больничное гляну окно, а там, за окном, — Пироговка...»	100
«Что-то знает Шура Лифшиц...»	102
Мой отец	103
Музыкант	105
«Почему мы исчезаем...»	106
«Соединение сердец...»	109
«Собрался к маме — умерла...»	110
«В день рождения подарок преподнес я сам себе...»	111
«Надежды крашенная дверь...»	112
«Вот музыка та, под которую...»	113
«В нашей жизни, прекрасной и странной...»	114
«В больнице медленно течет река часов...»	115
«Вот комната эта — храни ее Бог!...»	116
«Пишу роман. Тетрадка в клеточку...»	117
«Я выдумал музу Иронии...»	118
«Чувство собственного достоинства — вот загадочный инструмент...»	119
«Хочу воскресить своих предков...»	120
«Сколько сделано руками удивительных красот!...»	121
«Строка из старого стиха слывет ненастоящей...»	122
«Старики умирать не бояться...»	124
«Над площадью базарною...»	125
Краткая автобиография	126
«Осудите сначала себя самого...»	127
Песенка («Совесть, благородство и достоинство...») ...	128
«Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал...»	129
«Восемнадцатый век из античности...»	130
«Из Вашингтона в назначенный срок...»	131
«На странную музыку сумрак горазд...»	132
«Весь этот век, такой бесплодный...»	133
«Не уезжай, жена моя, в леса...»	134
«Распахнуты дома. Безмолвны этажи...»	135
«От безумного гриба...»	136

«Мне все известно. Я устал все знать...»	137
«Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке...»	138
«Я вам описываю жизнь свою, и больше никакой...»	139
«Я умел не обольщаться...»	140
«Дама ножек не замочит...»	141
«Витя, сыграй на гитаре...»	142
«Все утрясается мало-помалу...»	144
«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?...» . . .	146
«Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!..»	147
«Кабы ведать о том, кабы знать...»	148
Памяти Льва Гинзбурга	149
«Корабль нашей жизни приближается к пристани...»	150
«Становлюсь сентиментальным...»	151
«Воспитанным кровавою судьбой...»	152
Утро	153
«Собрались молokane...»	154
«Мой дом под крышей черепичной...»	156
Ад	157
«Раз и два...»	158
«Пора уже не огорчаться...»	159
Шестидесятники Варшавы	160
«Арбата больше нет: растаял, словно свеченька...»	161
«Мой брат по перьям и бумаге...»	162
«Ребята, нас вновь обманули...»	163
«...И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба...»	164
«Наша жизнь — это зал ожидания...»	165
«Смилуйся, быстрое время...»	166
«Проснется ворон молодой...»	167
«Пока еще жизнь не погасла...»	168
«Из Австралии Лева в Москву прилетел...»	169
«Мне не нравится мой силуэт...»	170
«Ах, если б знать заранее, заранее, заранее...»	171
«Под крики толпы угрожающей...»	172
«К старости косточки стали болеть...»	173
Японская фантазия	174
«Сочиняет плов Мазлум из баранины и риса...»	175

«Ты, живущий вне наших сомнений и драм...»	176
Турецкая фантазия	177
Песенка Белле	179
«Благородные жены безумных поэтов...»	180
«От войны войны не ищут...»	183
Ироническое обращение к генералу	184
Детство	186
«В земные страсти вовлеченный...»	187
Нянька	188
«Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть...»	190
«Дима Бобышев пишет фантазии...»	191
«Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки и струны...»	192
Американская фантазия	194
«Мне нравится то, что в отдельном...»	196
Жаркий полдень в Массачусетсе	199
«Вроцлав. Лиловые сумерки...»	200
«Полночь над Босфором. Время тишины...»	201
«Европа пьет водичку из Босфора...»	202
Красный клен	203
«Париж для того, чтоб ходить по нему...»	204
«Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою...»	205
Романс («В Иерусалиме первый снег...»)	206
«Тель-авивские харчевни...»	207
«Вы говорите про Ливан...»	208
«Матушки Нонна и Анна...»	209
Подмосковная фантазия	210
«Я в Кёльне живу. Возле Копелева...»	212
«Со скоростью сто сорок километров...»	214
Шмель в Массачусетсе	216
«Когда начинается речь, что пропала духовность...»	217
«На почве страха и тоски...»	218
«Через два поколения выйдут на свет...»	219
«Давайте чашу высечем хрустальную...»	220
Новая Англия	221
«Покуда на экране куражится Сосо...»	222
Перед витриной	223
«Как улыбается юный флейтист...»	224
«Вот какое нынче время...»	225

«Ах, если бы можно уверенней...»	226
«Тянется жизни моей карнавал...»	227
Рай	228
«Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...»	229
«Погода что-то портится...»	230
«Украшение жизни моей...»	231
«Пока он писал о России...»	232
Мнение пана Ольбрыхского	233
«Лучше безумствовать в черной тоске...»	234
«Лицо у завистника серое с желтым оттенком...»	235
«Вот постарел, и стало холодно, и стало тихо на земле...»	236
«Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя...»	237
Памяти Давида Самойлова	238
Песенка («На пригорке стояла усадебка...»)	239
«Я обнимаю всех живых...»	240
«Мне русские милы из давней прозы...»	241
В альбом	243
«“Шибко грамотным” в обществе нашем...»	244
«Был Лондон предо мной. А нынче вновь все то же...»	245
«А вот Резо — король марионеток...»	246
«Нынче я живу отшельником...»	247
«Поверившие в сны крамольные...»	248
«Ничего, что поздняя поверка...»	249
Памяти Алеся Адамовича	250
Свадебное фото	251
Отъезд	252
«От стужи, от метелей и от вьюг...»	253
«Мгновенна нашей жизни повесть...»	254
«Вымирает мое поколение...»	255
«Меня удручают размеры страны проживания...»	256
«История, перечень ей — не перечень...»	258
«Малиновка свистнет и тут же замрет...»	259
Обольщение	260
«Тщеславие нас всех подогревает...»	261
«Что есть полоски бересты...»	262
«На улице моей беды стоит ненастная погода...»	263
Звезда Голливуда	264
Манхэттен	265
Марусенька	266
«Мы — романтики старой закалки...»	267

«Под копытами снег голубой примят...»	268
«Ехал всадник на коне...»	269
«По Польше елочки бегут. Над Польшей птицы пролетают...»	270
«Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает...»	271
Песенка Льва Разгона	272
«Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!..»	273
В карете прошлого	274
Романс («Не предвкушай счастливых дней...»)	280
К потомкам	281
«Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок...»	282
«Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!..»	283
«Уроки пальбы бесполезны...»	284
«Что было, то было. Минувшее не оживает...»	285
«Роза сентябрьская из Подмосковья...»	286
«Что жизнь прекрасней смерти — аксиома...»	287
«Да, старость. Да, финал. И что винить года?...»	288
Что этот мир без нас, без вместе взятых?	289
«Когда петух над марбургским собором...»	291
Впечатление	292
Из альбома маленького музея	293
Кукольному дому	293
«Что им нужно для комфорта?...»	293
«В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены...».	294
«Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться...».	295

Окуджава Б. Ш.
О52 Под управлением любви: Лирика (70^е—90^е). —
Екатеринбург: У-Фактория, 2003.— 304 с.

ISBN 5-94799-204-3

ББК 84(2Рос=Рус)6

Булат Шалвович
Окуджава
**Под управлением
любви**
Лирика
70^е—90^е

Составитель Л. Быков
Редактор С. Семухина
Художественный редактор
В. Солдатов
Технический редактор
Н. Овчинникова
Корректор М. Попова
Компьютерная верстка
С. Григорьевой

ISBN 5-94799-204-3



Подписано в печать 04.03.2003. Формат 70×90 1/32.
Гарнитура Times ET. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 11,12. Усл. кр.-отт. 32,18.
Тираж 15 000 экз. (1-й з-д: 1—3000 экз.). Заказ № 175.

ООО «Издательство «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.